

важаемые читатели, взрослые и маленькие!

Юбилейный 10-й выпуск альманаха выходит в 2010 году.

Знатоки символики чисел наверняка могли бы чего-то интересного рассказать об этом случайном совпадении. Я же всего-навсего хочу пожелать всем участникам этого номера: пусть наступивший год будет лучше для вас и ваших близких, чем год предыдущий. А был он, увы, урожаем на уход из жизни очень многих известных людей искусства, о чём я упоминал в предисловии к 9-й «Семейке» и что не могло не быть замечено журналистами, окрестившими ушедший год «смертельным для звёзд».

К сожалению, не обошла беда и нас. Прошлым летом, в канун своего 53-летия, в Донецке скоропостижно скончалась наш постоянный автор, замечательный поэт Наталья Хаткина. Этот выпуск открывается её стихами.

Раздумывая над структурой юбилейного выпуска, я решил пригласить на праздник преимущественно наших постоянных авторов.

В прошлом году в Донецке в литературном клубе «12+1» состоялось обсуждение всех готовых на тот момент восьми номеров альманаха. Кроме всяких хороших слов относительно уровня большинства представленных на страницах «Семейки» авторов, были высказаны критические замечания по вёрстке и оформлению альманаха, которые мы вместе с верстальщицей Мариной Белоцерковской и дизайнером Виктором Хариком постарались учесть уже в 9 выпуске. Были ещё пожелания: изменить внешний вид обложки и даже само название альманаха. Мотив: и то и другое выглядит как-то уж очень несерьёзно. Начиная с этого номера, обложка претерпит некоторые изменения, а вот с названием расставаться жаль. Во-первых, к нему уже привыкли читатели, а во-вторых, альманах был задуман и позиционирует себя как издание для семейного чтения, и мне трудно представить для него более подходящее название...

Господа астрологи обещали, что год Тигра будет, хоть и в полосочку, но поспокойнее, чем год Быка, а он начался с кошмарного январского землетрясения на Гаити. Правда, по-восточному календарю новый год наступает только с 14 февраля. Остаётся надеяться...

Всех вам благ. Живите долго.

Составитель

Стухи



и проза

Наталья ХАТКИНА

Донецк, 1956–2009



Родилась 2 сентября 1956, город
Челябинск.

Донецкий государственный универси-
тет, филологический факультет (1978).

Учитель русского языка и литера-
туры, село Терны Краснолиманского
района Донецкой области (1978–1979).
Библиотекарь в Областной детской
библиотеке, город Донецк (с 1979).

Член Национального Союза писателей Украины (с 1988).

Лауреат областной премии им. В.Шутова (1993).

Член редколлегии журнала «Фонтан» (с 2001).

Главный редактор детского журнала «Апельсин» (с 2003).

КНИГИ СТИХОВ:

Прикосновение. – Донецк: Донбасс, 1981

От сердца к сердцу. – Донецк: Донбасс, 1988

Поэмы. – Донецк: Кассиопея, 1998

Лекарство от любви. – Донецк: Юго-восток, 1999

Птичка божья. – Донецк: М.О.С. Т., 2000

Стихи. – Донецк: Точка опоры, 2004

ПУБЛИКАЦИИ:

В журналах: «Юность» (Москва), «Работница» (Москва), «Кроко-
дил» (Москва), «Нева» (Ленинград), «Донбасс» (Донецк), «Многого-
чие» (Донецк), «Соты» (Киев), «Арион» (Москва), «Фонтан» (Одес-
са), «Родомысл» (Донецк), «Крещатик» (Мюнхен), «Грани» (США),
«Дикое поле» (Донецк)

и др.

В альманахах и сборниках: «День поэзии» (М., 1980), «Антология
русского верлибра» (М., 1991), «Строфы века: Антология русской
поэзии» (М.; Мн., 1994), «Антология современной русской поэзии
Украины» (Харьков, 1998)

и др.

КНИГИ ПРОЗЫ:

И смех, и слезы. – Донецк: Донеччина, 2003

Чудо в перьях. – Донецк: Донеччина, 2004

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Ребенок – это я. – Донецк, 1992 (С М. Краснянским)

Озорная азбука. – Москва: АСТ, 2001

О девочке Маше и мухоморе Яше. – Харьков: Ранок, 2004

Самый вредный Барабашка. – Харьков: Ранок, 2004

и др.

В книге Хаткиной есть недостатки, но одно достоинство перекрывает их все. Это – точность выражения чувств. Искренность этих стихов поражает.

Евгений Евтушенко. Из предисловия к первой книге Н. Хаткиной «Прикосновение» (1981)

Самая устойчивая маска Хаткиной – сама Хаткина, вернее, её лирическая героиня, битая жизнью, бесприютная, непрактичная, но по-своему победительная.

Марина Галина. «Литературная газета» (2001)

Наталья Хаткина – одна из тех, в ком продолжается поэзия – здесь и сейчас, и кто продолжать её достоин.

Элина Свенцицкая. «Соты» (2002)

Думаю, что Наталья Хаткина и как поэт, и как прозаик недооценена и заслуживает большего внимания, чем то, которым пользуется сегодня.

Илья Кукулин. Москва

ПРИВЕТ, «ЧТОХАТКИНАНАТАША»!

Летом прошлого года, приехав в Донецк, позвонил Наташе. Обычно после моего традиционного приветствия (о нём ниже) следовало: «Ой, Вовка, ты? Бери пиво – и ко мне!». На этот раз трубку долго не брали, а когда сняли, то я услышал: «Ой, Вовка, извини, это я теперь так подползаю к телефону. Совсем ноги не ходят. Вчера спустилась вниз в магазин, а назад, думала, не дойду», – из чего я заключил, что у Наташи какие-то проблемы с ногами. То, что она серьёзно больна, даже в голову не пришло. Не знала о своём смертельном недуге и она, но, видимо, что-то предчувствовала. Во всяком случае, разговор наш сразу же перетёк в странное, непривычное для нас с ней русло. Никогда прежде моя личная жизнь Наташу не интересовала, а тут с первой же минуты она стала настойчиво рекомендовать мне сойтись с моей первой женой: «Вы ж оба поэты, у вас столько общего»... Мы проговорили о том о сём, наверное, с полчаса, но Наташа то и дело упорно возвращалась к этой теме: «Не будьте дураками, сойдитесь!». Как будто завещала...

Наташа – из моей молодости.

Я познакомился с ней в 70-х в доме донецкого поэта Павла Шадура. Здесь всегда бывало полно интересных талантливых людей, но юная, ярко одарённая Наташа уже тогда выделялась среди прочих. Характер у неё всегда был, мягко говоря, непростой, язычок – острый. Ироничная (то, что Хаткина ещё в большей мере самоиронична, станет понятно значительно позже) и в жизни, и в стихах, она как-то озвучила нам своё задиристое стихотворение, смысл которого заключался в том, что если кто-то когда-то где-то и вспомнит о нас, грешных, «то только потому, что Хаткина Наташа» жила и творила рядом с нами. Тогда я в ответ придумал грустную эпиграммку на нас, её современников:

*Любимые друзья, печальна участь наша:
коль в век иной о нас дойдёт хоть слабый звук,
то только потому, что Хаткина Наташа
приветственной рукой касалась наших рук...*

С тех пор я к обоюдному нашему удовольствию только так с ней и здоровался: «Привет, Чтохаткинанаташа!»

Служба по окончании университета чуть ли не до конца жизни в детской библиотеке; необходимость в дикие перестроечные клепать за смешные гроши всякие развлекательно-справочные, к слову, очень даже неплохие книжки; сотрудничество с прессой и работа в двух журналах в постперестроечное время; постоянное редактирование кого-то и чего-то; «выращивание» дочери, а потом и внука (Наташа оказалась очень заботливой мамой и трепетной бабушкой) оставляли мало времени для стихов. «Моя бы воля, – сказала она мне как-то, – день и ночь писала бы только стихи!» Об этом «Шарик» – одно из её поздних горьких стихотворений:

1

*Только в извилинах что-то – виль,
точно под ветром поплыл ковыль,
сам по себе, на себе – в ту степь,
куда нас не пускает цепь...*

– Ма-а-мочка, надуй мне шарик!

– Щас я все брошу и буду тебе шарик надувать!

*Только в шевелинах что-то – шевель,
недоигравший в бутылки хмель
вверх запускает пузырь...*

– Ма-а-мочка, да надуй же мне шарик!

– Щас я все брошу!

(А ведь брошу, брошу...)

*Только в мечталлинах что-то намечтано,
Лодка сколочена, мачта намечена...*

– Шарик, надуй мне шарик!

Я надую шарик.

.....

3

*Шарик по небу плывет, плывет,
шариков – целый воздушный флот,*

*розовый, красный и голубой,
авиапраздник – мой и не мой.
Шарики – целый воздушный флот.
Они – все выше, а я – все ниже.
Эти бы шарики – в переплет.
Ах, какие бы это были книжки,
какие книжки*

Среди людей, отрывавших её от писания стихов, был, увы, и я – Наташа редактировала две мои книги, за что я ей, строгой, но доброжелательной, премного благодарен.

Хаткина – не только большой поэт, но и высокопрофессиональный, с врождённым чувством стиля, литератор. Не существовало, казалось, жанра, который был бы ей не по силам. Впрочем, когда я однажды сказал ей об этом, Наташа возразила: «Нет, один есть! Никогда не смогу сочинить порнорассказ. Рука не поднимется написать...» И она, сделав серьёзное лицо, произнесла расхожую, типичную для таких опусов фразу, которую с её нетривиальным мышлением и впрямь никогда бы не смогла написать...

Стихи и рассказы Наташи, к радости читателей, практически не сходили со страниц «Семейки».

Наши отношения никогда не выходили за рамки дружеских, правда, дружба эта по причинам, о которых здесь говорить неуместно, лет на двадцать однажды прервалась, но, слава Богу, возобновилась в конце 90-х.

Как жаль, Наташа, что тебе отпущено так мало земной жизни...

Наташе Хаткиной

1

*...Володя Авцен умеет смешить,
но сам никогда не бывает смешон.*

Н. Хаткина

Увы, Наташа, быть смешным
случалось мне не раз:
всю жизнь меж пьяных – трезвый в дым,

частенько Гондурас
меня так сильно волновал,
что было спать невмочь
мне от того, что я не знал,
как, бедному, помочь,
порой в чужой впрягался плуг
и был кнутами бит,
от ржачки лошади вокруг
копытились с копыт,
и уж подавно был смешон,
когда в чужой толпе,
ужасной вестью поражён,
я плакал по тебе.

2

Но старость – это Рим, который...

Б. Пастернак

На блёклых снимках брата, дяди, тёти,
отец, и мать, и прочая родня.
– А вот и я... Меня не узнаете?
Мне 20 здесь. Ей-богу, это я!
Показываем старенькие фото
друзьям-знакомым в вечной маете,
чтоб убедить себя или кого-то –
мы изменились, но мы те же, те!
Ещё сумеем сдвинуть с места горы,
ещё, как прежде, можем пить и петь.
А старость? Старость – только грим, который
наносит Жизнь, чтоб нас признала Смерть.
Да вот засада – со времён Адама,
кривя ухмылкой свой щербатый рот,
по свету бродит сумрачная Дама –
глуха, как стенка, и слепа, как крот.
И потому под общую гребёнку,
не видя и не слыша никого,
она стрижёт и старца, и ребёнка,
не обминуя из нас ни одного.

3

*Дар напрасный, дар случайный...**А. Пушкин*

Жизнь случайна и тем дорога,
и поэтому верьте – не верьте,
я не радуюсь смерти врага,
ибо сам отвратительно смертен.
А к уходу любимых друзей
невозможно вовек притерпеться.
Не с того ль среди зябких ночей
в сны мои вы приходите греться?
Как живётся вам в горнем краю?
Хоть была небезгрешною ваша
жизнь, я знаю, вы нынче в Раю –
Гриша, Славик, Петро и Наташа.
Потому что Господь справедлив,
не отдал вас нечистому в руки –
ношей адскою здесь наделив,
там, бесплотных, вас взял на поруки.
Но в обители дружб и любви,
среди миртов и запаха мирры
вы забыли ль обиды свои,
вы вкусили покоя и мира?
Но, как видно, молчанья обет
вами дан. Как всегда, безответно
исчезаете, чтобы тот свет
хоть немного согреть этим светом.

Владимир Авцен. Вупперталь

Наверное, среди знакомых Хаткиной не найдётся человека, который на неё хоть раз не обиделся. Из «обиженных Хаткиной» вполне можно составить посёлок городского типа. Но дело не в пресловутом «несносном характере» или «стервозности», а в том, что Наташа – из тех, кто ради «красного словца» действительно ни одного смертного не пожалеет. В том числе себя.

Михаил Красиков. Харьков

Наташа – настоящий поэт. Она живёт, как Поэт, она относится к миру и к людям – как Поэт. Ей бывает трудно и больно. Как только бывает трудно и больно жить в этом мире настоящему Поэту.

Ирэн Роздобудько. Донецк–Киев

Одинокая Хаткина. Домик на краю океана. Практически мыс Доброй Надежды. Профессиональный литератор. Поэт. Человек, за которым тоскуешь...

Владимир Рафеенко. Донецк

ДАСТ БОГ, НЕ РАСТВОРИМСЯ

Я до сих пор не верю, что Наташи нет!

Стоп, как это нет, если – ЕСТЬ! Есть память, есть стихи, есть записи радио и телепередач.

Да, это все, конечно, есть: но оно – эхо, оно, даже если отснято в цвете, все равно – черно-белое, и все это... БЕЗ ОТВЕТА!

Самое ценное, сокровенное, живое, самое потерянное для меня – это ее мгновенная, яркая, емкая, ироничная реакция на

любое событие, эпизод, фразу, слово – то ли при встрече, то ли в телефонном разговоре. Жаль, что я не записывала эти фразы. Да просто не могло даже подуматься в моей голове, что эта окружающая меня аура может в одно мгновение исчезнуть. И жизнь станет такой реалистичной. А реализм – это там, где темно, там, где нет юмора, там, где не взлететь. Ну разве так можно? К кому я обращаю этот вопрос – не знаю. Может, ответит...

Утешает одно, что Наталья относится к тому типу писателей, у которых никогда ничего не пропадает. Любая брошенная ею как бы походя фраза оказывается в свое время если не в стихотворении, то в рассказе. И ее можно будет при желании всегда отыскать.

*Я еще не ушла. Я жива.
И ты можешь себя не корить:
нерасслышанные слова
я успею еще повторить.*

*Их успеют еще причесать,
выгнать лишнее – в форточку дым.
Их успеют еще записать.
Не записывай – так посидим.*

Я никогда не бралась анализировать ее стихи, я их просто любила. Может, оттого, что я не филолог и не литературовед. Наоборот, большинство предисловий к моим книжкам и подборкам писала она. Она это умела. Ты только еще пытаешься понять что-то о себе и о других, а она вмиг высекает суть – коротко и точно.

Я, наверное, долго еще буду приходить в себя, потому что Наташа была единственным человеком в мире, который понимал меня, как никто. Понимал, как человека и как писателя.

Очень хочется верить в реинкарнацию, а не в химию. Химия растворит все без остатка – и лица, и книги. И если мы на этом земном шарике – в этой глобальной круглой тюрьме – находимся пожизненно, может, все-таки стоит надеяться, что хотя бы не по статье без права передачи мысли.

Ее с юности волновал Уход. Это исчезновение, растворение, потеря близких и любимых друзей. В общем, портрет Смерти, писанный неизвестным художником-авангардистом на холсте пустоты, висел всегда на виду. Об этом и в ее давнем стихотворении «Упаду, как река – в песок», да и «Чаепитие» о том же.

*Вдруг, заплавав, воскликнула я:
– Эти чашки не смеют разбиться!
Эти милые пальцы и лица
раствориться не могут во мраке.
Слышишь? Мы никогда не умрем!
Впятером, вшестером, всемером,
наши дети и наши друзья,
наши кошки и наши собаки.*

Даст Бог, не растворимся!
Прости, Господи, за надежду!
С любовью
Светлана Заготова. Донецк

В 2002 году редактор журнала «Дикое поле» Александр Кораблёв, накопивший у себя чуть ли не всё написанное Наташей, заручился поддержкой донецкого мецената Вадима Гефтера и вознамерился издать полное собрание сочинений Хаткиной. И... натолкнулся на яростное сопротивление автора! Наташа была категорически против полного и соглашалась только на избранное, да и то позднее. Похерив затею с полным собранием, редактор стал бороться за включение в избранное ранних стихотворений Хаткиной. Он предлагал полюбившиеся ему стихи – Наташа отвергала, он предлагал – Наташа отвергала (обычно бывает всё наоборот!). В результате двухлетнего «перетягивания каната» в 2004 году в «Большой серии» библиотеки журнала появилось избранное Натальи Хаткиной, в которое все-таки вошли не только новые, но и (Кораблёв дожал!) лучшие стихи из всех её книжек.

Ниже – характерный фрагмент их переписки тех лет.

АК: ... Посылаю тебе список стихотворений, которые нужно включить.

НХ: ... Откуда ты все эти вирши взял? Через астрал, что ли? У меня половина стихотворений... потерялась, про кое-что из твоего списка я намертво не помню... Если действительно включать всё-всё-всё, то это ж будет томище неподъёмный!!! Да и многое там просто упражнения в стихосложении или рифмованные дневниковые записи, а также «сопли и вопли» обиженной души... Пойми... Пушкин умер. В том, что на свет появляются какие-то вещи, которые должны бы быть сожженными в черновиках, виноват уже не он, а пушкинисты... Тексты у тебя есть. Вариант только мой, и никак иначе... размахивать детскими виршиками – это негуманная эксгумация трупа. И после моей смерти я тебе, Кораблёв, запрещаю издавать то, что там по тетрадкам насобиралось. Хочу хоть в гробу полежать спокойно, а не вертеться как хула-хуп.

АК: Не знаю, почему ты уверена, что умрёшь раньше меня. По статистике женщины живут дольше...

НХ: Я всегда вела себя плохо, неправильно живу и умру... Но об этом не будем, поскольку разговоры живых о своей смерти есть чистое кокетство. Какому я подвержена, но буду избавляться...

Александр Кораблев. «Из переписки А.К. и Н.Х., из которой ясно, почему не увидело свет полное собрание сочинений Н.В. Хаткиной» («Дикое поле», 2006). Донецк

Перелистываю книгу избранных стихов Наташи и понимаю муки её редактора: так и тянет дать чуть ли не все подряд, что, увы, в рамках публикации невозможно...

В.А.

Наталья ХАТКИНА

Мне кажется, что я тебя прочла.
Как время – разделило нас пространство.
Тебе нельзя ко мне – из невозвратных странствий.
И мне к тебе – никак – из моего угла.

И кажется, что ты не жил, что в книжке
тебя нашла. И там ты был – поэт,
еврейский мальчик, скрипочка под мышкой.
И сам ты – бред, и речи твои – бред.

А если ты и жил – то лишь в давнопрошедшем.
А если ты и жил – меж нами ряд могил.
Блажной, блажененький, блаженный, сумасшедший.
Острил, рыдал и черный хлеб делил.

И если я живу – то только этим, бывшим...
Шагнул, не обернувшись, в самолет,
как будто бы нырнул обратно в книжку
и за собой захлопнул переплет.

Товарищеский суд

Студентки лезли вон из кожи,
чтоб был мерзавец заклеимен.
Была им истина дороже.
А мне дороже был Платон.

Он не платил за общежитье,
он презирал сухой закон –
девиц невинных соблазнитель,
антисоветчик и шпион.

И был за то из комсомола
привсенародно изгнан вон.
...Но всех на свете истин голых
милей мне голый был Платон.

Храню в душе я память чудных
и упоительных ночей.
Платон! Любовник мой беспутный!
Теперь мне истина милей.

Лифт

Я любила промозглой весной.
То морозило, то моросило.
И любовь, словно лифт скоростной,
прямоком к небесам возносила.

Вот и крыша. Палящий июнь.
Лифт дымится, подъемом натружен.
И в кого только сверху ни плюнь –
попадешь в нелюбимого мужа.

А другою промозглой весной
я тебя разлюбила уже.
При подъеме на небо седьмое
лифт застрял на втором этаже.

В ноябре оставлен на меня
был наш дом, что значит – без присмотра.
Дули ветры то с холмов, то с моря.
Звери позабыли страх огня.

Дом открыли дикие коты.
С той поры в подполье ор и драки.

По утрам бродячие собаки
ждали в позах гордой нищеты
возле кухни, позади террасы.
Совы завладели чердаком.
Жили мы свободой и дождем,
впроголодь – и братством, и пиратством.

А вчера – видать, с меня, пропащей,
как вернется, спросит муж всерьез –
приблудился к паре наших коз
мальчик-фавн, от холода дрожащий.

Талисман

Это что-то вроде талисмана.
В шелковый мешочек – чтоб везло –
Зашиваю шишечку платана,
отлетавшей бабочки крыло.

Зашиваю мелкую монетку,
бусинку из бабушкиных бус.
Повезет, я знаю, непременно.
Я ведь ведьма, я не ошибусь.

И травой пахучею, сухою
начиню, чтоб ладились дела,
чтоб в ночи тебя не беспокоил
шорох отлетавшего крыла.

Нашепчу удачную дорогу,
новую любовь и дальний край.
Только ты не вороши, не трогай,
только, я прошу, не открывай.

Но ведь ты откроешь – я-то знаю.
Но ведь ты подумаешь: назло

мелкий мусор и трава сухая,
бедной мертвой бабочки крыло.

Песня о телефоне

Посвящается работникам связи

В телефоне живут тараканы
и тихонько грызут провода.
Потому-то мне вовсе не странно,
что твой голос порой пропада...

Щелк!.. разряды, шуршанье, помехи,
словно снегом метет Новый год.
Щелк!.. и голос Эдиты... Щелк!.. Пьехи
ностальгически ретро поет.

Пусть мои небольшие секреты –
в трубке чье-то сопенье терплю:
иностранная слышит разведка
тихий шепот, как я тебя лю...

Тараканы живут в телефоне,
пролагают кривые пути,
кто-то дико орет про вагоны
на каком-то десятом пути.

Тараканы маршрут изменили.
«Ту-ту-ван, ту-ту-сикс, экс-вай-зет...»
И чужие уже позывные
я ловлю шифровальщицей Кэт.

Я устала, мне хочется в ванну,
я не знаю, что станет со мной.
Шевелятся усы тараканы
под коробкой моей черепной.

Застывают подъемные краны
в недостроенной сорной стране.
Слышат крик мой одни тараканы,
истерический: «Я тебя не!..»

* * *

Я понимаю мычание, ржание, щебет,
куст, что роскошен, и листик, что жалко скукожен,
гравий гремучий; колючий – под пятками – щебень,
писк воробьиный, ворк голубиный – и кошку.

Жабу в болоте и спелую сливу в компоте,
я понимаю за сливой нырнувшую ложку,
бульканье бражки и бражки хлебнувшую тетю
я понимаю – но больше, конечно же, кошку.

Топот слонов услышав, поняла бы и топот.
В речи людской признаюсь, понимаю немножко,
вовсе чуть-чуть: «Хенде хох!» понимаю и «В жопу!».
Как ни крути, понимать предпочтительней кошку.

Наши ручьи – канализационные стоки.
Что-то бренчат, торопливо жуя на бегу.
Жалобы, вопли, хвалы, обвиненья, упреки.
Все понимаю.
Ответить ничем не могу.

Геннадию Олемпиюку

Нет у света ничего, кроме тьмы.
Он в ней лилией пророс и погас.
Кто там плачет в темноте? Это мы.
Нет у Бога никого, кроме нас.

Неподатливый такой матерьял –
отрастить не получается крыл.

Вот один хотел взлететь – и пропал.
Впрочем, кто-то говорит: воспарил.

То не лилия растет среди зимы –
просто хочется любви – прям сейчас.
Нет у света ничего, кроме тьмы.
Нет у Бога никого, кроме нас.

Сочельник

Снег Рождества! –
какой беспутный танец.
Снег Рождества! –
какой доступный глянец
навел Господь на сирую природу.
Снег Рождества! –
друг всех простудных пьяниц,
сыграй со мной в одну и ту же воду.

Снег Рождества! –
моей печали свита,
давай с тобой обманем Гераклита.
Зависни, не касаясь мокрых плит...
Там, в стороне, в сугробах прошлых лет
моя собака мертвая зарыта
и юность маской гипсовой лежит.

Там светофор, как леденец из клюквы,
и кошка лапкой ловит белых мух.
С тех самых пор меня никто не любит,
как я люблю – вся обращаясь в слух:
«Скажи мне что-нибудь»,
вся обращаясь в зренье:
«Постой, не уходи!»
Мои прикосновенья
настырны, вороваты и робки.
Любимый мой! Не убирай руки!

Когда-нибудь ты вспомнишь,
как мы плыли,
как будто Геллеспонт одолевали,
от мая выгребая к февралю.
Не выплыли, когда б не во хмелю.

Зачем я лгу?
Меня ведь не любили!
Меня ведь никогда так не любили,
как я люблю!
Мне было не дано
себя в другом без страха растворять,
нырнуть в ручей серебряной форелью,
войти в туман мельчайшей водной пылью,
в чужую жизнь, как нож – по рукоять.

Мне было не дано.
Мне остается
лишь лечь на дно.
Пусть надо мной слоится
вода Донца, белесая от мела,
и милые до слез уносит лица,
и стрелolist стоит в ней по ключицы
и ловит стрекозу на палец. Дела
мне нет до тех, в ком жизнь не откипела,
кто умирает над ручьем от жажды.
Что мне до них?
Я тоже не сумела
войти в одну и ту же воду дважды.

*Слегка почитав и сложив по числам,
свой мир едаже читателем во власть.
Все получилось так как получилось.
Судьба сложилась. Жизнь не удалась.*



Светлана ЗАГотова
Донецк

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

1-й километр

– Солнце вошло в моей душе, – сообщила я мужу и поцеловала его в шею горячими губами. Он тут же зажмурился:

– Ну вошло и ладно. Зачем же так раскаляться и предательски светить всем, кто ждет дождя. Разве это гуманно? Вот ты сияешь, а они все вянут да сохнут.

«И правда», – подумала я.

– Солнышко... – он осторожно, едва касаясь, обнял меня, – ты слишком активна.

Я промолчала, но некоторые мои лучи преломились и осветили незнакомую сторону чужой мне жизни. Он заметил это:

– Ну-ка, повернись, ай-ай-ай, глянь-ка, да на тебе пятна, чиститься пора.

Оставшиеся мои лучи поменяли спектр. Он и это заметил:

– Людям больно от тебя. Посмотри, все в защитных очках ходят.

Я отвернулась и закатилась за горизонт.

– Людям сухо от тебя, слышишь, людям хочется влажных отношений.

И плюнул...

А в природе все гармонично: ночь обрушилась на наш дом, потом роса выпала – сыро стало в душе – новый виток жизни пошел, в эмбрион скрутился. Потом дни полетели, недели.

Смотрю, муж опять дом обыскивает:

– Любовь-то где?

– Я отдала ее на время соседке, она ей как раз.

– Ну что ж, я тогда пошел?

– С Богом.

И стало хорошо.

7-й километр

Муж всегда любил не меня. Вернее, меня, но другую. А так легче. Та, другая – идеал. Вот проявилась во мне черточка этого идеала – податливость, муж ухватился за нее и давай расширять внутри себя. А то, что следом за этой черточкой потянулась чертовщинка, он не заметил, или не захотел сообщить мне, – что бы я не заметила, что он заметил. И вот он стал развивать мою податливость, а я свою чертовщинку. И я стала большой, и он стал большим, и мы стали потихоньку отодвигаться друг от друга. Он к стене, а я к воздуху. А потом мы купили большую кровать, чтобы случайно не зацепить друг друга и не обидеть.

И стало хорошо.

49-й километр

Я все равно поеду. Это не я не видела мир, а мир не видел меня, и я должна показать ему свое лицо.

– Не уезжай, он не узнает тебя, – муж светился как люминофор. – Смотри на меня. Зачем по сторонам глядеть. Весь мир во мне. Вот и поезд этот в меня въезжает целиком с грохотом своим и пассажирской бранью, с чужой любовью и нарастающей тяжестью известкующейся жизни. Неужто интереснее в нем ехать, чем в меня вглядываться? Я ведь твой свет, да?

– Ты – да! ты – ой! ты – ой-ой-ой! Ты – ой, боже мой! И я люблю тебя. Но я хочу большего, я должна видеть взгляды, отражающие тебя и искажающие тебя, любящие и ненавидящие тебя.

– Но Я ведь твой дом – да?

– Ты – дом, да! Но ты в нем случайно запер меня. Отдай ключ!

– Зачем? Иди сквозь... Ключ – он для чужих. Хорошее препятствие – для любимых.

И я прошла. Я умела сквозить... да так, что ему становилось холодно и неуютно. Я выпрыгнула из его рубашки и побежала. Я так неприглядно побежала, что он за мной не погнался.

Я убежала от него, чтоб стать одинокой и нелюбимой...

И стало хорошо.

343-й километр

Шопен озвучивал все мои мысли. А думала я о подруге.

Муж оставил ее. Он не просто ушел – он умер. Она его не любила, живого. И только на кладбище, вдруг почувствовала любовь свою – сначала спиной, покрывшейся холодным потом, – потом глоткой. Любовь, наконец, вошла в нее, но застряла, перекрыв дыхание. Осыпаются листья, мерзнут пальцы, горький комок любви взрывается в горле и выплескивается наружу, смешиваясь со злобой и ненавистью покинутой женщины.

– Знаешь, вот смотрю я на него, лежащего в гробу и чувствую, как люблю. Вот уже и земле его предали, а любовь растет.

– Да, мертвых любить хорошо.

– Перестань, любить всегда нехорошо. Любовь всегда не вовремя, это всегда трудно.

Я понимала ее, понимала, как ходит внутри у нее печаль, как гудит тоска по несостоявшемуся «нечто». Но он уже не может разделить с ней эту любовь, не может выпрыгнуть и швырнуть в нее камнем, отвечая взаимностью...

Наверное, Шопен помог. Нет, он не был на похоронах, сейчас его почему-то не зовут, боли боятся. Он звучал у меня в голове. Это был не фортепианный Шопен, а симфонический. Я и сама не ожидала, что он такое может. В своем звучании внутри меня Шопен превзошел себя. Это была божественная музыка. Или нет, не то, слово «божественная» не отражает сути. Это была Божья музыка. Бог играл сам. Играл на скрипке. Когда она запела, взошло солнце, затмевая смерть.

И стало хорошо.

2401-й километр

Я вернулась. Я не спала целую вечность, и она заговорила со мной:

– Скажи мне, какая я?

– О! О! О!

– Ты хочешь сказать «ноль», пустое место?

– Нет, что ты! Ты – наполненная пустота, исполненная особого света и цвета.

– Я не черная?

– С чего ты взяла?

– Просто в моей жизни так много ночей.

– Ночи бывают чистыми, светлыми, белыми, а в иной день выпадает так много грязи вместо дождя, и он становится черным.

– А почему все думают обо мне иначе, чем я сама, почему мое внутреннее представление о себе не совпадает с представлением обо мне других?

– Таков мир – никто не видит одного и того же.

– А как же нам тогда понимать друг друга? Может быть, можно приблизить и совместить мое видение себя с видением меня другими. Например, на мой абрис наложить абрисы всех тех, кто меня представляет.

– Не совпадут. У них же у каждого свой внутренний образ тебя. Надо сначала усреднить смотрящих на тебя, превратить их всех в ОДНОГО и затем совместить с собой, а это утопия.

– Получается, я так и буду скрываться от них за их представлениями обо мне?

– Получается так. А почему тебя это волнует?

– Не знаю, наверное, хочется, чтобы хоть кто-нибудь заметил меня.

– Он давно заметил тебя. – Глаза мои сомкнулись на этой фразе.

И стало хорошо.

В душе было тихо и пасмурно.

Я села писать роман о любви, а написала заметку о жизни. Причем жизнь сначала раскрылась передо мной, а потом сжалась, как концентрат.

И вот что я заметила:

Мы ходим по ровным линиям судьбы, или не ровным, но все равно четко размеченным, очерченным. И если старательно ходим, соответствуем чертежам, с нами ничего не случает-

ся. Но нам скучно. Мы пробуем нарушать границы – спотыкаемся, падаем в ямы. Вывих, ушиб, перелом и долгое лечение, в конце концов, идут нам на пользу, потому что в это самое время происходит расширение нашего пространства, создается новый, более сложный чертеж.

Места, где мы ушиблись, мы не будем обходить стороной, но станем чуть осторожнее. Эта осторожность вскоре войдет в привычку, затем в систему и станет новой ровной неопасной линией.

Но интерес к кривизне и изломам никогда не покинет нас. Ведь мы по натуре захватчики, нам всегда не хватает любви, нам хочется ощутить укол незнакомого пространства, получить очередную инъекцию (смесь боли и радости) и расширяться далее. И чем большие пространства мы будем захватывать, чем объемнее и значительнее становиться, тем скорее мы сольемся с величайшим «ничто», энергетическим шаром-Богом и его божественной любовью.

А дальше в соавторстве с ним мы станем создавать новые чертежи-маршруты для различных миров нашей Вселенной, а также для отдельных людей, которые предпочитают быть проще и ходить по заданным маршрутам. Что ж, так удобнее, комфортнее жить, так можно легко попасть на небо. И потом хорошо умирать, ощущая, что не несешь никакой ответственности за всех оступившихся.



Светлана ЖУРАЛЕХ
Донецк

Венок октав
(попытка биографии)

1

Дорога до-ре-ми, дарованная мне...
Расстрелянный рояль, разбросанные ноты.
Растрепанная скрипка. Сводки о войне.
Прощальные гудки – охрипшие фаготы.
Там, в маминой утробе, в самой глубине
Венок моих октав нашёптывал мне кто-то,
Насвистывал сквозняк в саратовском посёлке.
Ребёнок, Новый год и запах первой ёлки.

2

Ребёнок, Новый год и запах первой ёлки.
Куранты полночь бьют, и сын кричит мне: «Я-а!»
Зажатый кулачок моей коснулся чёлки,
Ребёнок просит грудь – бери, душа моя!
Смешались на столе пелёнки и заколки,
Конспекты и стихи. Счастливая семья.
Мы весело поём, мы на одной волне...
Миг сказочной любви – недолгий свет в окне.

3

Миг сказочной любви – недолгий свет в окне.
Тяжёлые плоды родительского сада.
Ах, надо б написать мне книгу о родне,
Я обещала маме – надо, надо, надо.
Что было, то прошло. Кто был, того уж нет,
И только старый сад и новая ограда.
Опавшая листва, засохшие метёлки.
Фаянсовый кувшин, разбитый на осколки.

4

Фаянсовый кувшин, разбитый на осколки.
Где родина моя, там сердце пополам.
Ушёл двадцатый век – остались барахолки
И кукольный сезон, похожий на «сезам».
А я – поэт без слов, я – нитка без иголки,
Я – цирк без шапито, я – гордая мадам.
Собака спит в углу, а муж в другой стране.
Соль, сжатая в щепоть, и чайник на огне.

5

Соль, сжатая в щепоть, и чайник на огне.
Жизнь ближе к эпилогу, время ближе к маю.
Стихи, как мотыльки, порхают в тишине.
Не стану их ловить – вдруг крылышки сломаю...
Бомжи металлолом приносят на спине,
Но вывеска в окне: «С утра не принимаю!»
Сочувствуют бомжам бабульки-балаболки.
Лязг брошенной подковы, грязные футболки.

6

Лязг брошенной подковы, грязные футболки.
Я памяти своей кручу калейдоскоп:
Галдёж на ипподроме, толки-кривотолки,
А я забыла страх, а я живу взахлёб.
Я растворяюсь в шёлке лошадиной холки,
И лошадь подо мной пускается в галоп.
Пегас – мой верный конь, жокей – мой лучший друг.
Симфония весны захватывает дух!

7

Симфония весны захватывает дух!
Масличная гора и звуки песнопений.
Святой Иерусалим – залитый солнцем луг,
В котором проросли библейские ступени.
И это ничего, что день горяч и сух –
Есть чистая вода и тень густых растений.

За стайками детей, за стайками пичуг
«До» рвется в небеса, рождая новый круг.

8

«До» рвется в небеса, рождая новый круг,
Сплетаются октавы, как молитвы в храме,
И тысячи ладов перебирает слух,
Чтоб музыка сливалась с вечными словами.
Есть музыка внутри, есть музыка вокруг,
Есть музыка от нас, есть музыка над нами.
И есть среди дорог в небесной вышине
Дорога до-ре-ми, дарованная мне.

9

Дорога до-ре-ми, дарованная мне...
Ребёнок, Новый год и запах первой ёлки.
Миг сказочной любви – недолгий свет в окне,
Фаянсовый кувшин, разбитый на осколки.
Соль, сжатая в щепоть, и чайник на огне,
Лязг брошенной подковы, грязные футболки.
Симфония весны захватывает дух!
«До» рвётся в небеса, рождая новый круг.



Александр БАРСУКОВ

Гельзенкирхен

ЕВРОПА. УСТРОИЛСЯ

Помимо моего дружка Наума, народ здесь – почти сплошь бундовцы: Хуна, Шая... и с ними, соответственно, Моня, Марик и Изя... Цель их – вместе с немецким пролетариатом бороться против немецкой же буржуазии. То тут, то там слышишь: опять молодой бундовский фанатик стрелял в губернатора. Стреляют, конечно, из водяных пистолетов, но и это в Германии не приветствуется. Стрелявшим урезают пособие – порой аж на десять процентов. Это кусается...

Русских в «Бундес-републик» не видно. То есть скандальные подростки в транспорте бросаются в глаза, но взрослых почему-то мало.

Во всяком случае, когда я встретил здесь вполне успешного Никиту, то здорово удивился. Никита показал мне в бильярдной несколько хитрых крученых ударов и вскоре уже в подробностях рассказывал о наболевшем... Да и до рассказа угадывалась в нем какая-то фатальность. Так что шутки в сторону... Тут судьбы...

Сына звали Никитой. Происхождение имени не афишировалось, поскольку историю его возникновения со временем переосмыслили, и помимо оттенка слегка лубочного она приобрела горьковатое послевкусие азиатчины, а впрочем, была проста и по тем временам не единична. Партийный генсек, тезка Никиты, в ходе поездки по периферии разговорился в приемной директора небольшого оборонного заводика с начальником сборочного цеха – в цеху собирали снаряды. Собеседник генсеку понравился – что-то правильное было в непослушной, на лоб заваливающейся пряди, в горящих глазах и в путаном брызжущем энтузиазме. Директор, сидя сбоку и уступив кресло генсеку, согласно кивал.

Через месяц пришел запрос из Москвы, а после возвращения из столичной командировки Никитин родитель стал – поначалу неприметно даже для себя самого – паковать вещички.

В столице не обманули, и вот он уже втискивается в купе московского скорого, стоящего у них на станции минуту, и пропихивает в дверной проем свой неподъемный чемодан. Из-за спины родителя выглядывает его подруга, глазастая и задорная молодая учительница, сейчас растерянная и еще не верящая до конца случившейся перемене. В браке родители не состояли, можно даже сказать, что Никитина мать, выклянчив у своей директрисы отпуск, попросту *увязалась* за родителем. Но в Москве серьезные мужчины в главке, а потом и в министерстве, расспросив, как и что, тут же намекнули на необходимость узаконить отношения.

Через неделю свежеиспеченные супруги, втащив свои многочисленные пожитки в светлую однокомнатную квартирку в московских Черемушках, усталые и слегка обалделые, расселись на чемоданах, разглядывая чисто оклеенные обоями стены и патрон без лампочки, свисающий на проводе с потолка.

– Фима, я так счастлива... – проговорила родительница, держа натруженную переездом ладонь мужа своей легкой и теплой ладошкой.

Через положенное медиками время родился Никита.

– Как ты решил назвать мальчика? – жалобно улыбаясь, спросила ослабевшая роженица, удерживая руку супруга всё той же ладошкой.

– Никитой, конечно! – не задумываясь, ответил родитель. – Мы всем, просто всем обязаны Никите Сергеевичу...

Конечно, азиатчина, всякие «из грязи в князи» – это перебор. В нашем случае это не так. Ну не выхватил бы Хрущев из глубинки Никитинового родителя, выхватил бы кого-нибудь другого. Незаменимых, как известно, не бывает. Хотя, с другой стороны, и заводиков, выпускающих те самые *особенные* снаряды, было в ту пору в Союзе всего два. И кто знает, каков был начцеха сборки на том, втором заводике. Удобнее считать, что Фима давал ему сто очков вперед по всем показателям. Да ник-

то из новых московских знакомых поначалу об этом, видимо, и не задумывался, пока как-то на праздничной вечеринке один из них не назвал Фиму *хрущовским фаворитом*. В шутку, конечно, но на минутку все за столом затихли. Это следовало осмыслить. С тех пор родитель потерял покой. То он сомневался в своей профпригодности, то начинал исподтишка наблюдать за женой, подозревая у себя какие-то *высокие рога*, что было уже полной чушью и психозом, поскольку ни сам генсек Никита Сергеевич, ни министерские коллеги супругу Фимы ни разу толком не видели. Тем не менее родитель бедствовал и сох.

При Брежневе вроде бы вздохнулось спокойнее. Прежнее окружение частью поразогнали, супруга вдруг как-то разом, в считанные недели расползлась, раздобрела и заметно, по мнению (и к тайной радости) Фимы, поубавила привлекательности. Мальчик Никита бодро ходил в школу, жег костры с пионерами и просился в «Артек»¹. У Фимы уже был свой кабинет и пятеро подчиненных. Квартира стала трехкомнатной, продвинулась к центру, внутрь Садового кольца. Фиме выделили автомобиль.

Перестройки он как бы не ожидал. В их ведомстве привыкли заниматься более практическими вещами. Всё поголовье месяцами не разгибало спин, готовя к сроку документы на новый *«образец военной техники»*, как это называлось... Никаких дискуссий в коридорах, никаких легковесных замечаний – враг везде, и враг подслушивает. Тут не до дворцовых переворотов...

И вдруг отдел наскоро, в течение недели, свернули, и Никитин родитель оказался дома, в отпуске. Конца отпуску не предвиделось, Фима изнывал от пустых домашних хлопот, ахал от роста цен на бензин (из окон виднелась бензоколонка) и, сколько мог, пытался советоваться с Никитой.

Никита, окончив Бауманку², тоже работал в оборонке, но не был, в отличие от родителя, «выдвиженцем» – на скорый успех не рассчитывал, в карьере двигался с оглядкой и вдумчиво.

¹ Привилегированный летний лагерь для пионеров в Крыму.

² Высшее военно-техническое училище им. Баумана.

– Валить надо, папаша... – сказал однажды Никита родителю. – В ГДР наши гарнизоны... ну я тебе ничего не говорил.

Через неделю, взяв у отца почти все отложенные деньги и не без профита обменяв их на доллары, Никита отбыл в длительную командировку за рубеж. К объединению двух немецких народов в одну семью в советских гарнизонах следовало навести порядок.

Через год Никита, утомившись жалобами родителей на безденежье и дороговизну (силовые структуры на родине не исчезли, но начисто выпустили из поля зрения и Фиму, и его *особенные* снаряды), выписал предков в Эрфурт. На платформе эрфуртского вокзала, недоуменно отметив про себя проношенные локти родительского пиджака и застиранную кофточку матери, Никита на мгновение задумался. Потом подогнал поближе машину, свалил в багажник нехитрый родительский скарб и, усевшись сам, вырулил на привокзальную площадь.

– В *бундес* вас сдадим... – не оборачиваясь, проговорил он непонятное. И тут же, без перехода, поинтересовался: – ...Квартиру приватизировали?

Фиму с женой приняли в Западной Германии как беженца-невозвращенца. Им дали комнату в общежитии, потом помогли найти квартиру. Раз в месяц приезжал Никита, иногда не один. Молодую жену непривычно звали Хельгой, она была костлява, беззада и светилась немецкой стерильностью. «Мой тягач», – шутливо похлопывал ее по плоской спине Никита. «Mein Führer», – сладко улыбаясь, отвечала ни слова не понимающая по-русски Хельга.

Горбачев приехал к Колю, и объединение Германии состоялось. А еще через полгода в скромную квартирку предков ввалились молодые. Никита носил из машины пакеты и чемоданы, Хельга на кухне, как умела, развлекала родственников беседой.

– Руссише женчинэ зэр хюбш¹... – блистала хорошими манерами серенькая Хельга.

¹ Sehr hübsch – очень привлекательные.

– Да-да, Хельгочка, – отвечала свекровь. – Хочешь, чайку подогрею?

– Никита арбайтет зэр филь¹... – продолжала гнуть свое невестка.

– Вот и молодец. Пряники бери... По-вашему... как там? – никель... пумперникель!..

– Где ты слова-то такие находишь! – озадаченно разводил руками родитель и пододвигал Хельге то сыр, то масло.

– Недельку-другую у вас поживем... – начал Никита, внося в дом последний баул. – ...Окочурилась ГДР. Кончено... «Запад есть Запад» – это верно. У вас тут и дышится иначе...

Деньги, вырученные при наведении порядка в советских гарнизонах, Никита вложил в автомобили, и вскоре над невзрачным ангаром на городской окраине появилась вывеска «Autohaus Berger». Хельгина фамилия весьма пригодилась: чиновники не так придирались при оформлении бумаг, да и гешефт производил впечатление немецкого, тем более что внутри за столиком с компьютером сидела немка Хельга и всю лопотала с местными жителями. Правда, вскоре выяснилось, что у восточных немцев свой особенный акцент и он не очень по нраву немцам местным, западным. Но это уже были мелочи.

Жизнь медленно налаживалась. Гешефт в небольшом городке шел вяло, и Никита вначале навалился на язык, а потом выклянчил себе на бирже труда курсы. «Вы предприниматель, – говорили ему на бирже. – Любые курсы вы должны оплачивать сами...» – «Ихь бин айн пенер. Ихь хабе нихьтс²», – возражал Никита и показывал приходные книги автохауза Бергер. Надежная, как трактор, Хельга принимала тем временем нечастых посетителей.

Неожиданно для всех родился ребенок.

Сперва Хельга стала как-то сутулиться, потом вдруг в одночасье выпрямилась, и у нее обнаружилось небольшое пузцо.

¹ Никита очень много работает.

² Ich bin ein Penner. Ich habe nichts. – Я нищий. У меня ничего нет.

– Вавилонская башня какая-то, – бесцветным голосом отметил родитель.

– Ихъ либе киндер¹... – в тон ему без интонации сообщила Хельга.

С гешефтом нужно было что-то делать.

После многомесячных поисков Никита, с утра до вечера занятый теперь на курсах программистов, нанял на службу поляка, несмотря на неряшливость, сочетавшего в себе необходимые автохаузу качества: сведения о практике авторемонта и начальные навыки в устном и письменном немецком. Письменный был особенно необходим, поскольку время от времени в гешефте всё же случались продажи и их нужно было оформлять документально. Поляку предложил себя в помощь Никитин родитель, к этому времени изрядно продвинувшийся в языке Шиллера и Гёте.

Незаметно пролетели два года занятий. Хельга теперь привозила малыша в коляске в гешефт, выпускала его в специально отгороженный загон, а сама помогала поляку и свекру в конторе. Никита заканчивал стажировку на большой фирме и уже имел договор на работу в ней по окончании практики.

В это время слегла и в три месяца иссохла, истаяла мать.

После похорон Никита не без потерь продал гешефт и нанял просторный домик поближе к работе. Отец остался в опустевшей квартире, теперь тоже сделавшейся просторной, и каждое утро, как на работу, отправлялся к общаге «поболтать с мужиками». Евреи со всего Союза и немцы из Казахстана, сидя на лавочке, вспоминали жизнь и делились мнениями. Молодежь носилась кругом на скейтбордах и роликах, моложавые мужчины без конца копались в моторах только что приобретенных, но уже подержанных стальных коней, а старики... – разговор заметно оживлялся, когда из тринкхалле² появлялся фляхман³.

¹ Я люблю детей.

² Небольшой продовольственный киоск.

³ Двухсотграммовая плоская бутылочка шнапса.

Работа отнимала у Никиты все силы. Оказалось, что немецкие коллеги не терпят конкуренции. Не сразу стало получаться сдерживаться, хитрить и интриговать. Но и с этой наукой, давшейся нелегко, Никите доставались только самые нелепые и тяжелые командировки. Он, правда, уже летал бизнес-классом и на его отелях было не меньше четырех звезд – но это не меняло дела. На месте, казалось, можно было работать сутками, а дело всё равно едва двигалось. Никитой затыкали дырки. От Никиты требовали соблюдения сроков. Никита видел во сне только формулы и строчки своих программ. Теперь он уже не ложился без снотворного и не управлялся с дневной работой без полдюжины чашек крепкого кофе. Хельга? Ребенок? Они виделись в среднем пару месяцев в году. Ведь иногда и у немецкого служащего случается отпуск!

На Pfingsten¹ они, оставив сына на деда, полетели в Париж.

После утомительного обзора парижских диковин Хельга осталась в номере, а он, с непривычки растерянный и как бы оглушенный, смысл под душем муть и туман, скопившиеся в голове от полета и автобусной экскурсии, и спустился в холл. Не торопясь выпил в баре эспрессо и вышел из отеля прогуляться.

Перед ним лежал Монпарнас. Взгляд безотчетно отмечал пухлые губки, румяные ланиты и осиные талии юных парижаночек. Тут же мелькали затянутые в кожу слегка (лишь слегка) полноватые марокканки. Проплывали немислимо длинноногие губастые и носатые тёмнокожие девицы из Средней Африки. «Хорошо...» – промурлыкал Никита, ощупывая в кармане бумажник с кредитными карточками – приватной и служебной.

Кафешки сменялись бутиками, киношки – галереями. Всё мелькало, кипело, ворковало и грассировало.

– Эскузе муа... – начал было Никита, но гарсон, слету уловив тяжелый акцент, мягко взял посетителя под локоть и провел его к свободному столику.

¹ Праздник Троицы.

– S'il vous plait, monsieur... Un aperitif?¹

– Си!.. то есть ви! – и Никита воровато огляделся по сторонам – не наблюдает ли кто-нибудь за его лингвистическими изысками.

За соседним столиком, уставясь на него во все глаза, сидел Кирилл...

– Привет, старик! Сколько зим! Какими судьбами!.. Ведь лет... – Кирилл пошевелил губами, – ...пятнадцать не выделись...

Никита пересел за столик Кирилла. Принесли аперитив. Говорил Никита. Пунктиром коснулся событий прошлых, но название фирмы, в которой работал, и отеля, в котором поселился на праздники с женой-немкой, слегка выделит.

– Ну вот и всё, – заключил он и слегка выставил запястье с солидными часами-хронометром. – Можно сказать, устроился... А как ты-то? Чего здесь, в Париже?

– Живу тут... – вяло ответил Кирилл. – Тоже... как бы устроился... Я школу кончал, а мамашка... ну, она там, короче, по интуристу терлась... Только я экзамены выпускные скинул, а она – замуж... То-сё, переехали в Швейцарию. Дом у него, машина... Меня в школу на год – французский учить. А еще через год – во Францию, в Сорбонну. Я их тогда и не видел толком – он днями на фирме, я в школе. Вечером они куда-нибудь отвялят, я – ну, или спать, или... там девки-швейцарки – плотные, хорошие... Чистые... Ну а потом у него умер папаша и оставил сколько-то миллионов наследства, фабрику. Тот, не будь дурак, фабрику тут же продал, а денежки на биржу. И удачно у него всё это получалось – я в Сорбонне даже в газетах читал про его успехи... А потом они оба убились... на самолете...

– О!.. – округлил глаза Никита. – Соболезную... А ты как же?

– Ну... теперь это всё вроде как мое... Других наследников у него не было...

Никита сглотнул и застыл, уставясь перед собой невидящим взглядом. Припомнились конторка автохауза, бледная беременная Хельга, поляк-механик с черными по локоть руками...

¹ Прошу, мсье. Аперитив?

– И как же ты? – бессмысленно повторил он вопрос.

– Да как... Концерты, яхты... Девки, конечно... Вот акварельки стал пописывать. Скучновато. Но вообще клёво. Встаю в двенадцать, моюсь, чищусь. Потом парикмахер приходит, бреет. А к часу спускаюсь сюда – кофеек, газетка. Во-он окна, видишь? Весь этаж мой... Так что, будешь в Париже, заскакивай. Сегодня, извини, не приглашаю – уже полно всего намечено... Гарсон!..

Гарсон кинулся стрелой. Никита тоже поднялся. Попрощались. Кирилл растворился в толпе парижан.

Бездумно и молча расплатившись за аперитив, Никита двинулся в сторону гостиницы. Парижанки, марокканки и длинноногие девушки из Судана больше не попадали в поле его зрения, сузившееся до размера двух-трех плиток тротуара под ногами.

«Пропала жизнь! – бормотал он про себя и встряхивал головой, как отгоняющая мух лошадь. – Пропала...»



Василий БЕТАКИ
Париж

Переводы с ненаписанного
(Из стихов 2009 года)

1.

...И вот затворяются деревянные решётки.
И двери отделяют лето от нас.
Ну, зачем его – заживо! Оно ведь чётко
Ещё существует!
И птицами кротко
Напоминает...

Но багажник набит. И последний час
Валандается между асфальтом и садом,
Машину подталкивает к автострадам...

А сад, сливаясь с другими садами,
Уже от соседних неотличим.
И лето, протёкшее между руками,
Под пальцами плывёт, как шашлычный дым...

Всё больше машин – и за, и перед –
Обгоняя друг друга: «на север, скорей...»,
И всё нереальнее те запертые двери,
И всё матерьяльнее пять этажей...
И всё слышнее назойливый, несносный,
В дорожном гуле голос

архангеловой трубы –

А в нём растворяются и мимозы, и сосны,
И морская пена, и пробковые дубы...

Остановлены в объективе аппарата,
Криво вывернуты недвижные облака...
А оно бежит откуда-то и куда-то –
Со своей скоростью каждая река.
И вовсе не из любопытства праздного –
Надо скорости эти сравнить...

А может, к той чайке она и привязана,
Ветров и времён незримая нить?

Заметь, от Шекспира и до Конан-Дойля –
Всего-то три полки по вертикали,
А если б по полкам двигался вдоль я –
За триста лет добежал бы едва ли...

Так если всё в мире – одновременно –
Художников разных – узнать по мазкам,
И от Шнитке – улицу перейти до Шопена
(Главное – адрес помнить, чтоб зря не искать).

...Если «времени больше не будет»,
Как обещал святой Иоанн,
История отменится и встретятся люди
Разных веков и разных стран...

А если соврал апостол
(Ведь нет для поэта запрета!),
Попробуем хоть издали скорость ветра
Определить по выгнутости вон того паруса,
Или по лесу, скрипящему яростно
В маятниковом качанье сучьев этих
Над берегом, где прибоя, сосен, камней голоса
Сливаются в мокрое звучанье Времени –
В отражённый от леса ветер,
Который обретает зримые очертанья,
Только опрокидываясь в паруса!

4. ЦЕРКОВЬ У МОРЯ

В пустоте шуршащей вся – от шпилья до дверей,
Распахнутых к морю близкому...
На истёртых плитах отраженья витражей
Дрожат опадающими листьями.

В зеркале отлива деревенский этот храм –
Опрокинутая в море вера, –
Каменные призраки расселись по углам:
На каждом из углов – химера.

Может, люди вовсе никогда и не придут?
В зеркале песчаном химера лает,
И дожди, и ветры ей бока грызут,
Распахнутая пасть не умолкает:

Бесчувственно небо –
Ни надежд, ни вер,
И не отделить от были небыль...
Химера выветренная – морду вверх –
Облаивает бессовестное небо...

Бретань

5. АД ВОРОНИЙ

Среди небоскрёбов и дождь сильней –
Уж не сама ль высота намокла?
Всё вертикальней, и всё длинней

Над стёклами стёкла, и только стёкла,
Сужаются стены с двух сторон:
И сквозь провода, сквозь чёрные коконы

Город не выпускает ворон.
Внизу отражается шум машинный,
Всё вертикальней серый бетон:

И сколько крыльями ни маши тут,
Никак в открытое небо не вырваться!
Или чёрный наряд так халтурно пошит,

Что воронам кажется – они выродки?!
Ещё хоть один этаж бы, но стоп:
Стены опять как будто чуть выросли,

И тросы вроде парашютных строп...
Но ведь не крылья у них ослабели,
Тянется ввысь, как гриб, небоскрёб.

Ещё чуть взлетели, еле-еле,
Ну где там прекрасная пустота?
Стены, сужаясь кверху, обсели...

И силы в крыльях уже нехвата...

Париж. Квартал Ла Дефанс

6.

ОДА СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

Под ногой ветки потрескивают, как в костре, в эту погоду:
Роща кажется жутко сухой! Будто отдали морю всю воду
Эти вечнозелёные дубы,

которые приютят хоть белку, хоть сойку,

И узловатые эти сосны.

Помнишь, в «Острове сокровищ» – те, синие

На прибрежном песке,

под которыми кокнул кого-то Сильвер?

Не от их ли колючего нрава хоть какую-то взял я малость?

Плюхает тихий прилив. У песчаной кромки волна сломалась:

Песочный дворец, построенный малышом,

терпит головомойки...

А при отливе песок опять серебрист, да и волны притихли.

Только скалы – как скалы... Упорство моё – не от них ли?
А некая дикость?

От дикого камня какой-нибудь здешней постройки?

Видишь, куски синевы у неба крадут вороватые сойки?
Кузины сорок-воровок (и не менее склонны к сварам).
Даже ангелы привыкли к их кражам: что взять, мол, птицы!
Ведь всё подберут:
огрызок яблока, осколок неба, или крошки пиццы.
Наша тяга к небесному –
не из их ли краденой синевы струится?

Ну а тяга к воде, когда плечи на берегу охватывает жаром?
Ну конечно: море – прародина (Кровь солона недаром!).
И хоть в незапамятные времена
изгнали нас из воды, как из Флоренции Данта,
Но память рыб, осьминогов,
каждой актинии, любой черепашки,
Даже память планктона, и та спрессована у нас в черепушке!
Море! Ведь то, что не терпит наша натура неволи –
Не от него ли?

Даже облака, при всём разнообразии,
кажутся банальней ваты
Оттого, что какие-то новые, не верёвочные, не живые ванты
У этих швертботов, вытщенных на пляж:
да и корпус – пластик,
Но не от этих ли мачт – дух дальних странствий?
Мы ведь только одно и делаем:
время обмениваем на пространство!

Чаще – даже не странствия – скромнее: передвиженье.
Повидать, побывать, побыть отзвуком, контуром, тенью...
На горизонте, близко, острова-близнецы:
Пор-Кро и Пор-Кроль.
Хоть вокруг бы проплыть!
Много ль надо – сам себе капитан и король!

Ведь не громоздкий «Арго», не ошибка Тесея – тот чёрный парус,
Не финикийские тяжкие корабли, не феаков летучая ярость,
Не бригантины, на которых шастала по морям перекатная голь,
Не триремы Рима, не каравеллы несчастного Магеллана –
Просто швертботик, зато – сами себе и короли, и капитаны!

Вечер. Шашлычный запах. Прибрежные склоны рыжи.
К чёрту длинные вёрсты Вергилия, мне Овидий ближе:
Вечные метаморфозы веселы, а скитанья – да ну их к мате...
Бесконечное набеганье волн есть уже осознание воли.
Извечное беспокойство толпящихся строчек –
не от него ли?

Не от него ли стихи, что полощутся, как под ветром платья,
Эти почти гекзаметры, которым рифма, вроде, некстати?
Но нет же! Парные рифмы прибоя, если надо, и берег размоют!
Да и кто достоин гекзаметров более, чем Средиземное море?
Вот, говорят, чуть не двести лет,
как по-русски гекзаметры сникли!
А мне всё не верится: даже эти строки мои – не из них ли?

.....

7.

Огни всё глубже тонут в лужах,
Лучи всё медленней дрожат.
Уж вовсе ничему не служит
Их отражений рваный ряд,

Уж вовсе никому не светят
Пустые дубли фонарей:
От плачущих фантомов этих
На улице ещё мокрей.

И никакого нет резона
Своим же отраженьем быть,
Чтоб в отражении газона
Свой зыбкий профиль утопить.

Светлана ФЕЛЬДЕ
Хеннеф

СЕМЬ СЛОНИКОВ

У чьей тетушки или бабушки на комоде не стояли семь слоников – мал мала меньше? Семь мраморных или фарфоровых слоников, которые, как говорили, приносят счастье и удачу в дом. Элемент мещанства или милое сердцу ретро? А может быть, действительно предмет силы, привлекающий позитивную энергию?

Ах, слоники, прелестные слоники! Вы – наши кумиры, мы – ваши поклонники – так звучал припев одной известной песенки 50-х годов.

Со слоников вытирали пыль, их переставляли в разных конфигурациях (оригинальная по возрастанию – в ряд), и даже когда дети подбирались к слоникам и разбивали или лишали хоботов одного или двух, то все равно слоников старались оставлять на том же месте. Ведь верили, что они приносят счастье и удачу! Глиняные кошечки и собачки с неповторимой наивностью во взоре, танцующие балерины, намертво приклеенные к подставкам-утяжелителям, расписные матрешки, вазочки «под Гжель», свиньи-копилки, вязаные вазы для конфет, фарфоровые фигурки оленей, пионеров, мальчиков с санками – все эти до боли знакомые символы мещанства, вызывавшие негодование в конце пятидесятых и в шестидесятых годах прошлого века, пару десятилетий тому назад стали символом китча, потом благополучно исчезли из домов, а теперь, овеянные таинственным ореолом времени, приобрели неожиданную популярность.

Моим мраморным слоникам двадцать пять лет. Они сегодня старше меня тогдашней, получившей их в подарок.

Мне исполнился всего год – в шестьдесят восьмом – а у Окуджавы в этом году в Париже вышел диск.

В восемьдесят четвертом году я поступила в университет, папа познакомил меня с женщиной по имени Таисия Семенов-

на. Она заведовала аптекой, одевалась немодно, женственно, странно, мужчины провожали ее глазами. Я любила бывать у нее дома, где однажды и познакомилась с ее племянником Сережей Кулигиным, приехавшим погостить после возвращения из Афганистана. Сереже исполнилось двадцать, мне – восемнадцать.

Папа с мамой были в шоке – совершенно неподходящий мальчик для их дочери. Ни кола, как говорится, ни двора, разведенные родители, всего лишь десятилетка за плечами. Пришел делать предложение руки и сердца в джинсах – уму непостижимо. Ведь для такого случая полагается костюм.

Я зачитывалась Буниным, Куприным, Толстым. Имя Окуджавы мне ни о чем не говорило. И когда Сережа пригласил меня на его концерт, я поморщилась – что за тип, что за странное имя – Булат Окуджава. Какой-то бард. Кто это вообще такие – барды...

Был какой-то маленький, абсолютно камерный зал, человек шестьдесят публики, явно относившейся к Окуджаве совершенно иначе, чем я. Стараясь сдерживать зевоту, изображала неподдельный интерес.

А потом он спел «Молитву Франсуа» Вийона и «Виноградную косточку».

С этой минуты для меня начался и так и не заканчивается сеанс окуджавской магии.

*Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый,
что он проживает в раю,
как верит каждое ухо
тихим речам твоим,
как веруем и мы сами,
не ведая, что творим!*

После концерта Сережа торжественно вынул из пакета сверток и сказал – это тебе. Они приносят счастье.

С тех пор прошло двадцать пять лет. Таисия Семеновна вскоре после моего знакомства с ней развелась с мужем, уеха-

ла с младшим сыном в Москву. Ее дочь Соня вышла замуж в Израиль. Сережа поехал в какой-то дальний колхоз тогдашней Куйбышевской области зарабатывать на нашу свадьбу. А я в это время влюбилась в другого. И обвинила Сережу в том, что он три месяца не писал мне письма. Все остальные злые слова, сказанные в телефонную трубку, я уже не помню.

На самом деле все письма я получала, но у меня не хватило смелости сказать, что я просто разлюбила.

Давным-давно наш общий знакомый рассказывал, что сразу после нашей ссоры он женился на девушке, похожей на меня, но через два месяца развелся. Больше я о нем ничего никогда не слышала.

Многие когда-то дорогие и памятные вещи потерялись, разбились, исчезли. Семь мраморных слоников пережили четыре переезда в Казахстане. И восемь переездов в Германии.

Я не знаю, принесли ли они мне счастье. Знаю только одно – из самых безнадежных ситуаций всегда находился выход.

*...Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.*



Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ
Штутгарт, 1947-2006

Три звёздочки
(*пять стихотворений*)

Традиционно – на троих.
Какое там традиционно...
Наплывы сна, импрессионно...
Да ну их к чёрту, не до них.
Ни до чего...
Ни до чего
Свободно в этой жёсткой власти:
До смерти – шаг,
И шаг – до счастья,
И шаг – Бог знает до чего...
Две масти – обе хороши
И восхитительно невинны,
По возрасту и для души –
Две незаконных половины...
Не то что яда – и строки
Не подольём в тени серванта.
Есть два колена,
Две руки,
На двадцать – сердца и таланта.
А голова – всего одна,
Да на троих сообразила...
...Свежо и пусто у окна –
Как будто небом просквозило.
И входит дерево в проём
И веткой вписывает строчку,
Что пьют – втроём,
Живут – вдвоём,
А умирают – в одиночку.
Куда от этой правоты?

Это занавес-парус, это
Взметнулись листья:
Смотрят вслед, зелены от боли,
Не видя, что там...
Только небо – пустое поле
За поворотом.

По утреннему городу, пешком,
На ощупь – как старушка с посошком,
По мусору, прикрытому пушком,
Под маршами – подвыпившим шажком...

Как больно вдруг по городу ходить,
Осколки – вон их сколько – находить.
Но сердцу – босиком не угодить:
Бежит и не желает погодить!

Куда же ты, куда же ты, куда?
Без памяти, и страха, и стыда?
Зачем остановилось у Суда?
Не райский он – районный. Не сюда!

Споткнулось у скамейки почему,
Где парочка блаженствует в дыму?
Она же не откажет никому,
А тёплая, как память по нему.

Припрыжка эта странная твоя:
Старушки? Погремушки? Воробья?
В какие ты направилось края?
И как это командую не я?

По ровному – сползая и скользя,
Забыв, что и работа, и друзья,
И палец, указующий грозья...
Достаточно. По городу – нельзя.

Как эта речка называется?
Цветок шершавый у лица?
Не знаю...

 Что-то разрывается,
Как – по романтикам – сердца.
Какой роман – этюд, элегия...
И лунный ропот по траве...
Редакционная коллегия
Ерошит жанры в голове.
Зачем? Какая, в общем, разница?
Давным-давно цветёт эссе
И там, где терминами дразнятся,
И здесь, на первой полосе
Всего, что дышит, к небу тянется,
Переплетаясь по пути...
И наклоняться – будто кланяться,
И плыть – как по небу идти.
И всё созвучно – как рифмованно:
Лицо, и звёзды, и цветы;
И что за той чертой рискованно,
Где растворяются черты,
Где воспаренье – растворением,
И где искусство – естество.
Три точки над стихотворением,
И три – за строчками его...

Поговорим по телефону,
Предпочитав иную связь:
Голосовому марафону –
Беседы трепетную вязь.
Поговорим по телефону
Не потому, что предпочли
Искусству – спорт, свечу – плафону,
А небу – технику земли.

Поговорим по телефону
Не потому, что недосуг –
Возврат к тому, ночному фону:
Не в суть, но всё же – не на суд...
Там перекаты к баритону
По проводам – как по годам...
Поговорим по телефону,
Неузнаваемый Адам.
Не семь чудес в эпоху ону,
Но всё же есть, но всё же есьмь!
Поговорим по телефону
В один из дней, которых – семь.
Рука – к Брокгаузу-Эфрону,
А сердце – к пяткам не скользи.
Поговорим по телефону
Вне всякой связи, но в связи...
Безликий диск, он рядом, вот он:
(Кружок спасательный притом)
Поговорим по телефону
Потом когда-нибудь. Потом...



Александр СНИЦАРЕНКО

Майни

HERR ШУКОВ

В дождливую летнюю ночь накануне внеочередного заседания Свободной Европы Иван Иванович Жуков, представительный грузный мужчина лет шестидесяти, спать не ложился вовсе. Подождав, когда в спальне начала тихо похрапывать жена, Иван Иванович прошел на кухню, зажёл уютное бра, достал из дальнего ящика пенала чистый лист бумаги, длинный заморский конверт, заранее припрятанную шариковую ручку, купленную по случаю в магазине «Всё за один евро» в комплекте с еще четырьмя такими же, и приступил к задуманному.

«Милый Медведушка, Митрий Натольевич!», – бодро начал писать Жуков мелким аккуратным вполне каллиграфическим почерком. Тут Иван Иванович призадумался. С одной стороны, он понимал, что такое письмо должно быть кратким и деловым, как говорится, конструктивным, с другой же, хотелось рассказать побольше о себе, с подробностями и деталями...

А жизнь-то протекала до обидного просто и обыденно. Восьмилетка в родном поселке городского типа Камнюкино, всего в 150 километрах от столицы, запомнилась тем, что в классе эдак седьмом удостоился пребывавший в юношеском впечатлительном возрасте Ваня единственной похвалы от преподавательницы русского языка Тамары Трофимовны (она же Т.Т.): «Жуков у нас человек стабильный – больше десяти ошибок на одной странице не делает». И то... Были и такие, что по сорок ошибок делали запросто.

Лесной техникум остался в памяти только новогодними вечерами с шейком под ёлочкой да потными объятиями с податливыми деваками.

Потом, как положено, была служба в танковых войсках в городе, увековеченном известной частушкой «По реке плывет уют»... Далее по тексту. Танковый бросок Чугуев – Прага в далёком августе 68-го для гвардии ефрейтора Ивана Жукова в

общем тоже завершился благополучно. Ну обварили правое ухо кипятком из чайника этажа приблизительно с пятого (ухо, кстати, до сих пор краснело и зудело на морозе), зато чувство победителя светло поселилось в душе Ивана Ивановича навсегда.

Вернувшись героем в родное Камнюкино, поимел Жуков всего три записи в трудовую книжку (вот оно провидение Т. Т. о его стабильности!): завхоз лесхоза «Наветы Ильича» – это пока там весь лес не вывели, – потом завхоз почтового ящика 14/18, производившего педальные двигатели для сверхсекретных ракет «земля-вода-воздух», а уж за этим, во время клятой конверсии вместе с перестройкой и гласностью, опять же завхоз, но уже на заводе по производству алюминиевых ложек, в который сконверсился бывший знаменитый почтовый ящик.

Время, называемое сейчас совсем обидно застойным, казалось Жукову и вовсе замечательным: пять дней секретной работы, в субботу коллективная поездка на электричке в столицу за продуктами, зато в воскресенье – отдыхай не хочу, всё успеешь – и жену погонять, и с товарищами на рыбалку, и за обедом бутылочку выпить, и телевизор посмотреть, футбол там, хоккей, фигурные катания разные или фильмы про подвиги героев-разведчиков. А то сядешь в огороде на очке орлом и сиди хоть час, читай газету «Правда», изучай мировую политику, готовься к политинформации по понедельникам. Ну и банька само собой, это обязательно...

«В связи с образованием нового геополитического образования», – хотел было написать Иван Иванович, но отложил лист в сторону. Коряво получалось...

Вспомнился черный год окаянного дефолта, задуманного президентским любимчиком киндер-сюрпризом наверняка при участии мировой еврейской закулисы в лице Международного валютного фонда и Всемирного банка ихнего благоденствия. А тут еще подлый американский миллиардер по кличке Сорость перестал поселковой библиотеке, где работала жена Жукова Римма, журналы покупать и ремонты делать... Словом, накрылись в момент в тот год и библиотека, и родной завод по производству алюминиевых ложек-чайников. И стало совсем плохо, совсем уж невоготу стало. Единственная и любимая дочь Жукова Раиска сориентировалась тогда быстро

и решительно – в миг нашла себе какого-то рыжего кренделя и укатила с ним за три моря. Римма, с характером тоже женщина, отважилась на поступок отчаянный: прихватив с собой лишь две клеенчатые сумки и слегка упиравшегося, больше для видимости, мужа, уехала. Правда, в другую сторону.

«Пишу Вам по поручению группы соотечественников, граждан нашей Страны из далёкой Западной Европы», – продолжил наконец Иван Иванович.

...Собирались обычно в беседке за кустами волчьей ягоды и зарослями папоротника, как раз между автостоянкой и теннисными кортами. К вчерашнему сходу подготовился Жуков основательно, прикупив в русской лавке под названием «Панорама Маркт» бутылку крепкой «Путинки», к ней приторного липкого клубничного ликёра «Ельцин», 250 граммов колбасы «Любительская», нарезной батон, польских бочковых огурчиков и на всякий случай карамельки «Раковые лапки», «Гусиные шейки», вдруг кому захочется...

Первыми пришли Моня из Бельц и Боря из Гомеля, сладкая парочка любителей халявы, прозванные на ринге (кольцо по-местному) Чуком и Геком. Их и соотечественниками-то можно было назвать чисто условно. Так, бывшие... Но русскоговорящие всё-таки. Потом подтянулся чурка Рахим, родом откуда-то из Средней Азии. Рахим обходился в жизни четырьмя фразами: «мне эта ...» (если чего надо), «ага» (согласие), «не-а» (отрицание) и «шайтан, бя» (это уже на все случаи). Короче, тоже русскоязычный. Последним подошёл седой глистообразный мужик Валера, в той жизни мастер по ремонту бытовой техники, из Перми. Последние два месяца говорил Валера только об одном: «Забрали, суки, пенсию, честно заработанную. Высчитывают, падлы, сто евро ежемесячно. Выдавливают... Но мы их...» Хорошо думал Валера, правильно. Вот так впятером, в полном составе, сход и начали...

«Вчера нами на общенародном сходе в присутствии 500, – Жуков подумал и решительно приписал еще один ноль, – 5000 человек было торжественно провозглашено новое геополитическое образование – Западно-Европейский Русский округ (ЗЕРО).

В связи с этим, уважаемый Митрий Натольевич, в ближайшее время предлагаем Вам предпринять следующее:

1. На заседании главного парламентского органа Страны – Ума Палаты – официально признать Западно-Европейский Русский округ (ЗЕРО) и включить его в состав нашей единой Державы.

2. Оказать новому образованию всяческую гуманитарную, материальную, информационную, а в случае необходимости и военную миротворческую помощь», – тут Жуков живо представил высадку предполагаемого десанта, включая вертолёты и бронетехнику, на большом пустыре возле центрального мусорника, мюль-плаца по-ихнему...

Вообще-то, конечно, пункт 2 требовал более серьёзной расшифровки и разъяснения.

Гуманитарную помощь давали приезжантам по пятницам в убогом магазинчике без названия, куда тащиться было на штрассенбане (трамвае то есть) минут сорок. Доберёшься с трудом, очередь выстоишь, а потом суют тебе в харю за твоё же кровное одно евро сосиски из путена (индейка, значит), сыр с плесенью, йогурты с мюслями разными, авокады с салатами-айсбергами – тьфу, дрянь, глаза б мои их не видели, – а то и селёдку, херинг в банке, по-ихнему... Бери, дескать, не умничай... А от него, херинга этого, прёт за версту, сразу видно...

Материальная помощь тоже никогда не лишняя. Инфляция у них здесь бешеная. Посobie повысили на четыре евро, а российскую пенсию – долой, каждый месяц по сто евриков высчитывать стали. Заметьте, только с нас, русских, то есть. Чистый пестицид и дискриминация... Ну что об этом писать?.. Что писать... Десантом их, русофобов хреновых.

И с информацией явный беспорядок. Тратить еженедельно больше двух евро на вялую «Новую Правду» или хилые «Старые Известия» не хотелось, да и жена Жукову не позволяла. Натужно приседающая перед властью молодёжка «Московский беспределец» Уткина-Хренштейна доверия у Жукова не вызывала, как, впрочем, и никуда не годящийся желтоватый еженедельник без позиции «Менты и акты». Конечно, не жаль было б и трёх евро за патриотическую газету Паханова «Послезавтра», но она на запад почему-то не доходила. Местный же печатный орган под названием «Новый тевтонец» кроме рекламы и сомнительных объявлений ничего не печатал.

С телевизором тоже полная блокада. Антенны-тарелки, которые глумливо называли здесь сателлитами, ставить чаще всего запрещали, потому, видите ли, что они ихний пейзаж портят. Жена Римма всю неделю активно интегрировалась, поглощая без перерыва все передачи на их непонятной для Ивана Ивановича речи. И только по воскресеньям смотрела сама и позволяла смотреть мужу какой-то канал по кабельной системе «Прима», за которую приходилось платить 20 евро ежемесячно. Привлекали Римму Михайловну совершенно не интересующие Жукова новости «Сейчас не у нас», передача под странным названием «Полный Альпоц», где суровая цыганистого вида тётка с упоением ругала сотрудников компетентных органов, а вечерами по тому же каналу торговал своим бородатым лицом какой-то Пропеллер из Нью-Йорка, принимая у себя в гостях всех сбжавших когда-то на запад диссидентов-антисоветчиков.

Хотелось же Ивану Ивановичу совсем другого. Сердце радостно сжималось, когда видел он на экране простое русское лицо страстного трибуна Михаила Блевонтьева с его народными комментариями «Однакося выкуси» или уж, на худой конец, хитрована и умницу, обрусевшего хохла Андриюху Шельменко в русской телезабаве «Громите с нами».

Эх!.. Иван Иванович еще более сосредоточился, сдвинул лохматые брови, решительно провёл рукой по жёсткому седому ёжику, взял отложенную в сторону ручку, продолжил.

«3. Лишить газпроповского пособия бывшего канцлера Шлэндера и не обещать никаких пособий нынешней канцлерице Геле Мерзкель, а пустить все эти средства на развитие русского языка среди жителей Нибелунгринга, территории вновь образованного Западно-Европейского Русского округа (ЗЕРО)».

Тут Жуков вспомнил, как издевались над ним на так называемых шестимесячных интеграционных курсах, заставляя учить какие-то артикулы и никому не нужные падежи со склонениями. Вот ведь, суки, придумали... Живём же с русским без артикулов, и ничего, получается друг друга понимать без всякого. Ещё в языке их, что обидно, буквы «Ж» нет, это ж надо до такого додуматься! И талдычат тебе «хер Шуков, хер Шуков», а ты им слова сказать не моги, тевтоны картавые. Из мата у

них только одно «шайзе эгаль» слышно. Это типа «насрать на тебя», если переводить по-литературному. Улыбаются тебе в лицо: «Я-я... Алес кляр...», всё в порядке, значит, а в сторону – «шайзе эгаль», и весь разговор...

Представилось Жукову, может, «шайзе эгаль» навеяло, как гонят безответных пожилых, уже после шестидесяти, русских людей на непрестижные евровые работы по уборке территории, где собаки тевтонские, Каштанки и Вьюнки всякие, кучи, где хотят, накладывают, а русские люди должны в ненавистных цвета оранжевой революции комбинезонах ходить с совочком и дерьмо их в контейнеры складывать. Они-то хрен за собой уберут, они собачий налог платят. Это ж гуманитарная катастрофа! Танки бы сюда, танки...

«4. В случае непризнания нового геополитического образования властями Свободной Европы, земли Майнланд-Шульц, города Майна и непосредственно нашим хаусмастером (типа управдома) считать их всех политическими трупами».

Черные глазки Иван Ивановича взблеснули, вроде хорошо получилось. Дописал уже уверенно: «С уважением, шеф-президент Западно-Европейского Русского округа Иван Жуков».

Поставив жирную точку, Жуков призадумался, а потом дописал внизу уже чисто по-дружески, как у них, у президентов, между собой принято, когда без галстуков: «Ты, блин, Натольич, не тушуйся. Никаких санкций не будет. Взбзднут, как всегда, хором, и председатель их Егози в индивидуальном порядке. А ежели что, к корешу обращайся – поможет. Не зря же он здесь десять лет на спецзадании корячился».

Иван Иванович сложил втрое исписанный лист, бережно поместил его в узкий конверт, заклеил. В верхнем левом углу привычно написал свой адрес латинскими буквами: «Herr Schukov», ну и так далее...А внизу справа вывел кириллицей: «Москва, Кремль, Медведушке Митрию Натольевичу». Потом подумал и написал в скобках: Или тому, КТО сейчас главный.

Дело было сделано. «Завтра пошлю с Нибелунгпост, чтоб и уведомление, и квитанция...», – подумал напоследок Иван Иванович, входя в спальню, где тихо похрапывала жена Римма Михайловна, в девичестве Каценберг.

Лев БЕРИНСКИЙ

Акко

Из тетрадок 70-х гг.

ВЕСЕННЕЕ VULGO

(опыт автоматического письма, выдержки)

*Витийствовать «по поводу»,
сказавшись простачком, –
оно что к речке по воду
спускаться с черпаком.*

*Но я-то не запасливый
насчёт, мол, вечных строк –
пойдет ли впрок, напрасно ли –
скорей воды лоток!*

*Пустой и гулкой полночью
в двух метрах от беды
ты – дальней скорой помощью,
а стих – лоток воды...*

Когда, бывает, от бедлама
всем грузом жизни устаю
и как считалочку – Свет-ла-ана –
вдруг имя лёгкое спою,
и сразу воздух, невесом,
качнёт пространства, голубея,
и горный мир, над колыбелью
кренясь, мне скатит детский сон, –

там солнца лик во всю улыбку
сияет и являет мне
в траве ползущую улитку

и рыбку юркую на дне,
и сонмы ангелов в тумане
над синью речек и полей
поют Hoуshayne – гимн Светлане,
вселенской радости моей.

*О свет очей моих – очей, давно обвыкнувших во мраке
и вдруг на блеск в пятьсот свечей мигающие у собаки.*

*О чёрный зной моих ночей, удушливых, как в бензобаке,
в бутоне грёз – в качливом маке рой мотыльков, поклёв грачей.*

*Не Бог сподобил вновь прозреть. Ты краем платья полоснула,
мне вскрыв, как опухоль, глаза –*

*и снова мрак... На что́ смотреть? И в чёрном блеске смеха, гула
стою, и чувствую: слеза.*

А в апреле так ночи пугливы.
Зыбко пламя небесных свечей.
Если б вместе осилить могли мы
эту оторопь светлых ночей.

Я таких еще вёсен не видел.
Божьим страхом пространства полны.
И в тревоге мой ангел-хранитель
машет крыльями возле Луны.

Зябко в мире. Восход, золотея,
приближается ходом ладьи.
Я люблю тебя. Я холодею.
Посмотри на меня, погляди.

Разойдёмся вовек не расставшись.
Это, скорбно оставившись вниз,

наши ангелы, нас не дождавшись,
в беззаветном объятье слились.

*Не бойся, что всё это снится – ты яви и счастья не трусь,
я сам за тебя объясниться со мною, с любимым берусь.*

*«Любимый, мой вздох голубиный, мой солнечный с неба обвал,
когда это было, любимый, чтоб ты меня поцеловал?»*

*Любимый, не помню, не знаю ни рук твоих долгих, ни плеч,
любовь – паутина лесная, обвейся же мной, не перечь*

*любви в полусне под рябиной багряной, под цвирк воробья...
Любимый... любимый... любимый...» Вот речи, достойны тебя.*

В ангельских сферах над светлой Москвой
заняты всё немирскими делами.
Ты на земле мне объятья раскрой
на растворенном, как складень, диване.

Ноги и руки свои вознеси,
переходящие в полудвиженье.
Может, бессмертия хочешь? Проси.
Я гарантирую в рай вознесенье.

Доступ имею и связи в верхах.
Я им, лазурным, играл на гармошке.
Дыры протопали на облаках.
Твист и «Марусечку». Кланялись в ножки.

Ты попляши у меня, попляши.
Ты покажи нам, на что ты способна.
Тело – в обмен на спасенье души.
Вероотступно. Девоподобно.

Я никому на земле не скажу.
Утром сама не заметишь пропажу.
Что до бессмертия – я попрошу.
Я это как-нибудь после улажу.

*Как свежи лагуны и рощи! Ты окна в пространства открой.
Далась тебе Трубная площадь с двухкомнатной конурой!*

*Возьми меня за руку крепче – над Чистым пройдемся прудом,
над Мгой, над какой-нибудь Керчью, вдоль острова Пасхи пройдем.*

*Вдыхая бетель или руту, всю землю держа на виду,
по солнцу, по чудо-маршруту все страны с тобой обойду.*

*И где-то под высями Рима, на старый взберясь Колизей,
помашем легко и незримо окошкам далёких друзей.*

Боже мой, помоги этой женщине лечь,
как Тебе сотворить её было угодно –
с отведённой рукой, с головой ниже плеч,
чтобы видеть меня было ей неудобно.

Только помнить и чувствовать, что не одна
в этот миг, в этом мире, на этом ночлеге,
а глаза приоткрывши, увидеть: луна!
или: ветви! – и снова зажмуриться в неге.

О себе не молю. Это слишком сполна.
Это надо такое миров размещенье,
чтобы в дальних морях не плеснула волна,
чтобы воздух не тёк, застеклив освещенье...

Мне любви не дожидаться на тверди земной.
Да и стыдно в мои-то... Нет – мне Ты не нужен.
Помоги этой женщине быть не одной.
Обмани её мною. Я буду послушен.

Буду нем. Да исполнится воля Твоя,
обратившего взор, ниспославшего милость
той, которую сам осудил, сотворяя:
чтоб жила, но вовек не с любимым ложилась.

*Ты помнишь далёкие горы и райской земли лоскуток,
где фауны больше, чем флоры – по десять жуков на листок.*

*По семьдесят пчёл на тычинку. И гномов, стреляющих влёт
стрекоз. И большую личинку, сосущую хвою, как мёд.*

*Ты помнишь, как весело было нам прятаться в прель и цветы?
И как ты меня полюбила, и как не заметила ты...*

*А после: зарницы и полночь, и душный, всё в ощупь, чердак,
а утром – лагуна... Не помнишь? Да что ты! Да как это так?*

Мальчик спит. Ему не спится.
Сон от сна его бежит.
Золотоволосой львицей
кто-то рядышком лежит.

Мальчик спит, свернувшись в теле
непомерном, всё длинней...
Львица смотрит: на постели
женский торс приделан к ней...

Утром солнечным проснутся.
Не признав себя самих,
разойдутся, разбредутся...

Окликать не станем их.

*По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах,
во всякий шалаш забегали, когда мы там были в бегах.*

*Искали солому ли, сено. А золота мы не нашли –
да что нам до этого тлена тяжелой сибирской мощны?*

*Сменяли на знойную ночь ламбё златоносных корзин –
и на омлёвую бочку, и на студеной баргузин.*

*И знаешь, Светлана, едва ли пора нам ходить в соболях!
Как жарко там спать, в Забайкалье, где золото роют в горах...*

Глушь саранчовая, пустошь клопиная,
неистребимая тмутаракань...
Тихо уснувшая нежно любимая
в эту сквозную московскую рань.

В эру космическую, но юрскую
– судя по Сретенке в окнах, Кремлю –
я тебя, доледниковую русскую,
первый из прямоходящих люблю.

Нет ещё слов и такого понятия,
чтоб добытийную грусть передать.
Только в забвении сна и объятия
можно прижаться и зарыдать –
глухо, как преображенские пьяницы
и диплодоки или киты...

Что-то в тебе прозревает и пялится,
мыслью – но дикой – глаза налиты.

*И вновь зазвенело, запело, и полночи купол опал.
Как солнечно. Как надоело. О господи, как я устал!*

*Вульгарно, торги как на бирже, как сочинских пляжей кусок –
ночное сиянье и вирши, и блещущих куп шепоток.*

*Бездумно, небрежно, беспечно прошла, полыхнула в глазах.
Сияй. Но не столько. Не вечно. Дай мозгу остынуть впотьмах.*

*Сокройся... Как тихо и странно. Вернёшься – мы снова начнём,
Светлана, сквозящая рана сиянья на крупе ночном.*

Поделом же тебе, песнопевец,
погорелец миражей, грезёр,
сновидений знаток и умелец, –
поделом тебе этот позор.

Оживив, точно куклу Мосторга,
красоты неподвижной оскал,
перед ней замирал от восторга,
чудо мира глазами ласкал.

Приноравливал к её платью
время года, судьбу и пейзаж,
и уже заготовил к объятью
чуть не свадебный экипаж.

Откупились безрадостной ночью
от вселенского праздника жить,
и за Трубной в слободку сорочью
вновь забились – красой дорожить.

Уходил ты, в себе неуклюжась.
И покуда спускался во двор –
встречный лыцарь к принцесе... И ужас
обуял тебя. Страх и позор.

В небе звезды остановились –
и смело тебя, как помелом...

Поделом же, безумный сновидец!
Поделом тебе! Поделом!

Сон спасительный, может и вещей.

Вот признаюсь – и кем прослыву?

Признаюсь: унижение женщин. Сон, несбыточный наяву.

Сон приходит как месть и как милость.

*Не забыть мне картину одну:
ты такую и так мне приснилась, что свою искупила вину.*

*Irritabo из ангинного бреда. На коленках, на склоне горы
(ах, забавные доводы Фрейда – я предвещал их с детской поры)*

*ты причмокивала губами. И голубки, и ярочки с гор
удивлённо, большими глазами поглядев, отводили свой взор.*

Чем, не знаю, в Москве занималась плоть,

*двойница твоя в этот час –
там, на склоне сидеть ты осталась
под презрительным скопищем глаз.*

Я – покинул зелёную сцену. Электричка. И вроде не сплю.

И тебя – покарав за измену – после сна как посмертно люблю.

*Помаленьку, понемногу,
день за днём и год за годом,
ты уходишь, слава Богу,
грёзами, недугом, потом, –
всем, что мучит, как отравы,
дух и тело воспаленьем,
испареньями и – слава
Богу – тихим исцеленьем.*

*Ты уйдешь – угаснет ярость,
словно зной в глазах на жатве.
И всего тебя осталось
на слезу, быть может, на две...*

*Ты знала б, чего это стоит – сидеть, хохоча, визави,
покуда занудливо поет душа о какой-то любви.*

*Взмолиться б. Упасть на колени. Уткнуться с ушами в подол.
В каком-то орать иступленье, забыв, кто есть кто здесь...*

Потом

подняться с достоинством лживым.

Проститься на несколько дней.

Исчезнуть. Сказаться счастливым. И с жизнью покончить своей.

Москва, апрель-май 1979



Демиан ФАНШЕЛЬ

Кёльн

НОВЫЙ ГОД, ИЛИ ПРО СВОЁ

Ну – почему? Почему как Обрезанье, так – ночью!?!..

Что ещё за ночная хирургия такая, тайная? Неотложная?

А не – дневная, радостная. – Плановая операция, на 8-й день.

Неужто родители постарались – пошли с Младенцем в синагогу специально – ночью?.. Зимней. По холоду, в холодрыгу молельного заведения без отопления (Иерусалим, не Иерусалим...) Только чтобы состоялось всё (кровь христианских младенцев в синагоге – первая, хоть и последняя, не забудьте!) – кровь из носу! – ровно в 24 ноль-ноль? По Москве. Гринвичу, извините. В неверном свете масляных светильников, под бой кремлёвских курантов.

Да?

Да – ни Боже мой!

Старенький Шимон к тому времени уже, небось, и спал.

Если – не больше. Уснул уже и видел сны.

Ну ладно. Ну хорошо. Ну ладно: не днём, при ласковом израильском солнышке.

Не тогда – когда и следовало бы пускать нам фаллические пробки в потолок! Ладно.

Не днём.

Когда светлей – и видней, и праздничней. Не при хорошем освещении – столь необходимом при деликатной хирургии. Ладно.

В темноте так в темноте. Как постановило всё прогрессивное человечество. Во тьме ночной, при светильниках.

В ночь на... это... – на что? На Новую Эру.

Но (внимание!): не в 24 ноль-ноль! И – не согласно Парижскому Эталонному Метру! И Системе СИ. Все еврейские ночные календарные события начинаются, кажется, с первой звезды. Суточные. Месячные же, если не ошибаюсь, связаны с лунным циклом.

Никак – не с нашим календарём индейцев майя. 2010 лет коренной ошибке.

Ладно. Итак:

День восьмой. (Ночь?)

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали ему имя Иисус... принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был бы посвящён Господу... родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд» (Лук., 2.21-23).

Восьмой День.

Начало Нового года. Новой эры. 1 января. 14 января.

День Обрезания Господня.

День посвящения Богу, день Рождения в Боге.

В общем – Начало.

В котором не Слово, но – дело: строгое следование закону отцов, закону Отца.

В общем – разобрались. (В частности – запутались.)

В частности запутались, потому что как в России, либо, например, в Украине, главный праздник (в Европе стыдливо именуемый днём св. Сильвестра) – это наш с ёлочкой и президентом Новый год. Здравствуй, Новый год!.. С 31-го на 1-е.

То есть...

Т.е., Обрезание, получается, раньше – собственно Рожденья?!.. У кого, получается, происходит – то, что раньше Рождества празднуется – у Духа Святаго?!..

У меня сейчас шизофрения начнётся!.. Вернее, продолжится – вялотекущая наша, радостная.

А... – сейчас сглотну комок!.. Globus histerikus.

А – после 6-го, после Рождества, второго нашего главного праздника – будет СТАРЫЙ Новый год?! Т.е. – старое Обрезанье... Чего ж ещё там обрезать-то осталось?!. Если отпраздновалась конкретно с братьями-латинянами – конкретная ночь с 31-го на 1-е. Честь по чести. От неё и – летоисчисление. От неё – наша Новая Эра (?!)

Умом, короче, – не понять. Аршином общим (ни даже парижским эталонным аршином) не измерить.

И ещё: «У ней особенная статья». («Стать», кстати (О! «Стать», кстати)... – аллитерация. Или как там.). «Стать», кстати, по-украински – «пол». Тот, который М и Ж).

Ни умом не добиться, ни аршином.

Или, ну вот возьмём, например: ну почему, собственно... Нет, ну почему, действительно: «западники» и – «русофилы»?!

А не: «вестерники» и – «русолобы»?

Спрашиваешь, спрашиваешь коллективное бессознательное: «Дай ответ».

Не даёт ответа.

Хрен с ним. Джо неуловимое.

А мне нравится весь этот новогодний джаз – почти три недели!

Весь этот – три недели – новогодний разгуляй!

Хануку бы не забыть. А также – 8 марта. И – до первого апреля.

Наливай!

Как говорят (как говорили раньше) в карпатских сёлах, пия по кругу: «Пью до вас!».

Пью до вас, мои дорогие други-католики-лютеране! Мои други-поляки и сибирские немцы.

Пью до вас, родные православные!

Пью до вас, абсолютно родные еврейцы! С крестиками и без. С обрезками и целыми.

«Пью до громади!»

«Весело-весело встретим Новый год!»



Барджуб



Владимир БЕРЕЖКОВ

Москва

Владимир Владимирович Бережков родился 26 февраля 1947 г. и живёт в Москве.

Окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина (1978). Филолог. Одно время был ведущим инженером ЦНТОЗдрав Минздрава СССР.



Фото Владимира Семчука

Играет на шестиструнной гитаре.

Песни пишет с 1963 г. преимущественно на свои стихи, а также на стихи В. Коркия, Л. Губанова, И. Бродского. Несколько песен написаны на стихи Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, О. Чухонцева и других российских поэтов.

Член московского КСП. Пропагандирует творчество друзей, ушедших от нас в разные годы: Веры Матвеевой, Юрия Аделунга, Леонида Губанова.

Выступал в Магадане, Душанбе, Владивостоке, Воркуте, Якутске, Одессе, Цюрихе, Иерусалиме, Кельне, Нью-Йорке.

С 1965 г. – член творческого объединения «СМОГ», в которое входили поэты Л. Губанов, Ю. Кублановский, прозаик Саша Соколов и другие наши знаменитые соотечественники.

В 1967 г. в подмосковных Петушках вместе с А. Галичем и Ю. Кимом участвовал в конференции по проблемам песни.

В 1968 г. – стал лауреатом Новосибирского фестиваля авторской песни. Впоследствии – член творческого союза «Москва», куда входили также В.Коркия, Е.Бунимович, Н.Искренко.

С 1987 г. – член творческого объединения «Первый круг».

В настоящее время является председателем отделения авторов песен Союза литераторов РФ.

Любимые авторы: В.Высоцкий, А.Галич, Б.Окуджава.

Хобби – велосипед.

Работает на радио «Говорит Москва».

Вышла книга и аудиокассета «Мы встретились в раю».

Зарубежные творческие поездки: Польша, США, Израиль, Германия.

Недавно в Германии, в том числе и в городе Вуппертале, прошли творческие вечера Владимира Бережкова. Предлагаем вашему вниманию стихи и песни автора.

Мы встретились в раю...

Мы встретились в Раю.
За нашу добродетель
Господь, прибравши тело,
И душу взял мою.
Увы, мы Евы дети,
Нам жизнь уже не светит,
Я песенки пою.

А в расовом вокзале
Я закупил азалий,
Апостол Пётр мне сам их
В букетик завязал;
Друзья встречают в зале,
Они, конечно, взяли,
Один из них – с усами –
Сказал, что завязал...

Эй, жизнь, привет, подарок!
Ни разу не ударив

И разменяв задаром
Под тару для вина,
Бросались мы годами,
Ну а потом гадали:
Где гость, а где – татарин
И с кем нам пить до дна...

Грехи, года, законы
Сменились котильоном,
К тому же, очень скоро
Вернут нам для услад
Наш дворик, где пионы,
Где рвутся шампиньоны,
Где у забора – споры
Ромашки и числа.

Нет мук – и нам не больно,
В ограде Рая – вольно;
Наверно, лучшей доли
Для нас на свете нет.
Что жизнь – чего там помнить! –
А Рай любовью полон,
Лишь мысль – не жёлтый дом ли
Господь подсунул мне...

Мы встретились в Раю.
За нашу добродетель
Господь, прибравши тело,
И душу взял мою...

Камо грядеши

Как в этот город вели все дороги,
так из него выводило не меньше,
шли по дорогам узреть и потрогать
и убегали – кто пьян, кто помешан.

Очередь жизни – туда и оттуда,
как и всегда, все надежды надежны.
На перепутье встречались люди
и вопрошали: КУДА ЖЕ ИДЕШЬ ТЫ?

КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?

На перепутье тяжелою ночью
Петр, спасаясь, но зная, что будет,
встретил Христа с последнею ношей,
с вечным его на плечах перепутьем.

Пыль на дороге – Я тоже оттуда –
Ветер развевает, в грязь замесит нас дождик;
и не спасутся пришедшие люди,
так для чего же куда же идешь ты?

КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?

Жизнь так проста – или верь, или думай;
туман предрассветный вынесет зримо
крест от креста, где дороги сойдутся,
как бы ни шел ты – в Рим или из Рима!

Очередь жизни – туда и оттуда –
Как там надежды? – Надежды надежны...
На перепутье встречаются люди
и вопрошают – Куда же идешь ты?..

КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?
КАМО ГРЯДЕШИ?

Тайнинка

На станции Тайнинка
По Яузе-реке
Вела меня тропинка,
И шёл я налегке.
И посреди моста я
Застыл, оторопел –
Там диких уток стая
Качалась нараспев...

Как вы сюда попали –
Ведь здесь в реке – мазут,
Трава жива – едва ли,
В кустах – дорожный зуд,
И, поседев от пыли,
Пчела сидит в цветке...
Как вы сюда приплыли
По Яузе-реке?

И я им хлеб бросаю
С бетонного моста –
Но равнодушно стая
Скрывается в кустах...
Их, видно, кормят лучше
Пивные мужики –
По Яузе, по луже
Плывут мои куски...

Река мой хлеб уносит,
Мой хлеб – гляди – не мил!
Не так я, что ли, бросил,
Да крупно отломил...
Но вот одна склонилась,
И хлеб у ней в руке...
На станции Тайнинской,
На Яузе-реке.

Соломинка

Нет проще ничего, нет ничего обычной,
Начало всех начал – звучит он по земле –
Крик боли – этот воздух – сжатый и привычный,
И без него нам, как без соли на столе.

Он человеку дан с его дыханием Богом,
А всё, что не болит – мертво, чем ни зови,
Но как бы жили мы на выдохе без вдоха? –
И нам оставлена соломинка любви.

А что нам нужней, что дороже?
Глоток – я никак не отдышусь...
Оставь мне соломинку, Боже,
Уж я за неё удержусь.

И что нам в дебри лезть и спрашивать ответа –
Прислушайся, гляди – ответ на всех один,
Ведь в каждом что-то есть от солнечного света,
И каждый ищет сам, как этот свет найти.

Я руку протяну – тебе – ну что ж, бывает!
Всё будет хорошо... я, как и все – дышу.
А если что болит – то, значит, заживает...
Соломинка струною – я её держу.

Что дальше судьба нам предложит
Глоток – я никак не отдышусь!
Оставь мне соломинку, Боже,
Уж я за неё удержусь.

Уголовная моя Родина...

Виктору Коркия

Уголовная моя родина,
приблатненный ее уют...
Сколько крови на землю пролито,
и меня здесь, глядишь, убьют.
Кто там – красные или черные,
или лучший друг – азиат,
А скорее свои – крещеные –
мой товарищ, сосед и брат!

Ах, российские да вы подвальчики,
коридорчики, тупички,
Наши стеночки да наши мальчики,
наши ножички да штычки,
Порубают всех нас лопатой,
и за дело – не вылезай...
Моя родина конопатая,
популярная, как слеза.

Но люблю ее до последнего,
где еще порадеть дадут,
Я оденусь нынче по-летнему,
я дождусь роковых минут,
И на улицу огородами
выйду сам – вот он я, смотри –
Уголовная моя родина,
в лужах черные пузыри.

У кошек музыка иная,
И мимо – человечий звук,
Они поют с другого края,
Им ближе, может быть, паук.

Сидит он, этакий Бетховен,
И крутит фугу, словно Бах,
В углу своём немногословен,
Как кошка или патриарх.

Развесит мух поодиночке –
Его попробуй-ка услышь!
И лишь сквозняк колышет строчки
Да тихо подпевает мышь.

«Чудище обло, озорно, стозевно и лайй –
Хочешь ешь меня, хочешь режь меня,
но под ракистов куст не бросай,
Хошь в тюрьму сажай, хошь суму мне дай,
но под ракистов куст не бросай.
Не бросай меня под ракистов куст,
Не бросай меня под ракистов куст –
Ничего другого я не боюсь!»

... Вот валяюсь я под этим кустом
И по гроб мне здесь
стол и дом...

Мне родина моя
Дала одно крыло,
Чтоб в дальние края
Меня не унесло,

Чтоб бился над страной
В бензиновой пыли
И чувствовал ногой
Колдобины земли...

Литкафе



Здравствуйте! Вы пишете стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, вы нам – свое реальное стихо- или прозотворение.

Здравствуйте! Вы любите стихи или прозу? Проходите! Мы вам – виртуальную чашечку кофе, реальные стихи и рассказы, вы нам – ваше доброжелательное внимание: ведь авторы, даже очень самоуверенные с виду, всегда волнуются...

Согласно Уставу, в кафе каждый раз будут приглашаться всё новые и новые авторы. Прежним остаётся только место встречи. Его, как мы помним, изменить нельзя.

Добро пожаловать!

НВ. В связи с юбилеем мы решили сделать исключение и пригласить в 10 номер на чашечку кофе – независимо от того, впервые они у нас в гостях или бывали прежде, – 10 поэтов, хороших и разных.



Татьяна ШЛЕВА

Эссен

Канджи

Заходящего солнца оранжевый диск
похож на скатившийся со стола
апельсин из детства.
Подставляю ладонь.

Память о прошлом
не ранит сердце,
познавшее много печали.

Полночь. Дождь проливной.
Уплыл последний автобус
и мне не оставил спасательный круг.

Старый преданный друг,
на ледяной тропе горного перевала,
не говори мне о верности сердца.
Верность руки здесь дороже.

Не люблю Рождественских ярмарок,
где продают многоликий китч,
жареные колбаски с пивом
и младенца Христа.

Май.
Клёны в зелёных беретах,
как воины перед парадом.

День и ночь держу открытым окно.
Иногда прилетает усталый ангел,
и пока он спит, я сушу у огня его крылья.

С ветки на ветку
стремительной белкой время летит.
Его не поймать и не приручить.

Иных и вблизи-то не разглядеть...
А с дальнего берега прожитых лет
и вовсе не видно.

На круглых пяльцах натянут
белый лоскут луны.
Вышью на нём имена ушедших друзей.

Стали хрупкими старые письма...
В них жива ещё нежность
тех, кого больше нет.

Дождь – вечный эмигрант,
говорящий на всех языках...

Не верил никто, что вновь зацветёт
засохший жасминовый куст.
Я продолжала его поливать,
и он мне ответил.

Раздор между друзьями
Подобен кораблекрушению...
Сайонара –
прощай, если нельзя иначе.

Уснул у меня на груди
мой маленький сын.
Пока что легка эта хрупкая ноша.

Сквозь морозящий дождь
сияют мальвы, улыбки детей
и лица влюблённых.

Каждая гусеница мечтает о крыльях.
Но не каждая становится бабочкой.

Когда нас предают,
тяжёлые камни ложатся на сердце,
заполняя место, принадлежавшее тем,
кто нас предал.

Глупый ночной мотылёк,
на пламя свечи летящий!
Сгоришь – не вспомнит никто.
Ведь ты не Икар...

В осенней роще брожу одиноко.
Листья клёнов опускают сухие ладони
на поникшие плечи мои.
– Прощайте!

Бессонница, будто летучая мышь,
залетела в окно.
До утра её стерегу.

На блюде неба вылилась ночь,
будто кофейная гуща.
Займусь до рассвета гаданьем.

Ночь свернулась в клубок,
как большая чёрная кошка.
Рассвет разбудит её.

Пёстрые утки улетают в Китай.
И с ними одна, что меня приручила.
Вернётся ли снова?..

Художники, поэты и ангелы
в своих привычках похожи:
не уживаются в стае,
летают поодиночке...
Храни их Господь.

Четыре шипа у Розы Ветров –
на четыре стороны света.
Цветок эмигранта.

Иван ВОЛОСЮК
Донецк

Уже сошел тяжелый снег
С полей и пашен,
И новый день, как новый век,
Велик и страшен.

В каждой ветке, в каждой жилочке
С нами вечность говорит,
Дождь пространство из поилочки
Несмышлёное поит.

Поищи поди великого,
Тишина да облака,
Но взовьется уткой дикою
К небу новая строка.

Мировая радость – золото,
Мировая скорбь – зола,
Ты сосуд земли расколотый
Воедино собрала.

В каждой жилке, в каждом атоме,
В каждой клеточке живой
Мировая тайна спрятана
И порядок мировой.

Слово каплей казалось, но в нём мне
Целый мир открывался живой,
И тащил, как мешок неподъёмный,
И волок я его за собой.

Мучил лиру, и выгнул в дугу я,
И сломал, и оставил её,
Чтобы эту тоску мировую
Переплавить в призванье моё.

Красок взял я, каких захотела
Птица, что прилетала ко мне,
И ожившая песня звенела
На залитом дождём полотне.

Тихо моря колышется вымя,
Черный пар от земли поднялся,
Всходит солнце, как спелая дыня,
Желтым соком налитая вся.

Время тянется, сбитое с толку,
Здесь совсем по-другому живут:
Чинят сети в рыбацких посёлках,
Сушат рыбу и песни поют.

С нас за спрос не потребуют платы,
Пахнет морем базарная речь,
Чтобы денег, в дороге измятых,
Мне совсем не хотелось сберечь...

То, что здесь называется пляжем,
То, куда нас ведут на ночлег,
То, что мы не заметили даже,
Сохранит наша память навек.

Время тянется, сбитое с толку,
Здесь совсем по-другому живут:
Чинят сети в рыбацких посёлках,
Сушат рыбу и песни поют.

Кто смотрел в эти окна?
Дождь прошел – и сухая трава,
Как газета, промокла,
И теперь она снова жива.

Зеленеют растенья,
Сеют травы свои семена,
На одно поколение
Жизнь одна и погибель одна.

Небо тучами ограблено,
Не осталось ни звезды,
И серебряными саблями
Машут всадники грозы.

Ночью тучи воду пресную
Выливают из корыт,
Топят конницу небесную,
Топот огненных копыт.

Уже не пахнет керосином
В домах и не несут огня,
Но с фотографии старинной
Мой прадед смотрит на меня.

Уже не строят деревянных
Домов, но я ещё храню
Десяток тех игрушек странных,
Которых с детства не люблю.

И я пытался научиться
Беспамятству, но ночь темна,
И прошлое в окно стучится
И не уходит от окна.

Торопиться опасно,
Тонок лёд в ожиданье весны,
Птица кажется красной
Или только лишь крылья красны?

Птица кажется синей,
Я за нею иду и молчу,
Если справлюсь с гордыней,
То великое мне по плечу.

Между веток – пробелы,
Крыльев взмах, и беда – не беда.
Птица кажется белой,
Улетает она навсегда.

Бесконечное лето
Я бы в памяти смог удержать,
Но какого ты цвета
Мне до смерти теперь не узнать.

Я спросил у неба: «Навсегда ли
Эти сёла, эти города,
Синевою залитые дали?»
Небо отвечало: «Навсегда».

Я спросил: «Поэзия уйдёт ли?
(Слово канет в лету, что тогда?)»
Голос был серьезен и отчетлив,
Небо отвечало: «Никогда».

Я лондонских улиц не мерил шагами,
Не видел ни Рейна, ни Темзы глубокой,
Я не был в Москве, где земля под ногами
Священной, чем небо в Париже далёком.

Но видел берёзы простые серёжки,
И видел дубов вековых позолоту,
И в книге травы, под зелёной обложкой,
Застал муравьёв за тяжёлой работой.

От полустанка к полустанку
Продлилась родина моя,
Душе, как юной христианке,
Всё ново в храме бытия.



Евгения КОМАРОВА

Бохум

Дон Жуан

Скомканная чужая постель.
Скомканное чужое лицо...
Лучше б ты не смотрел на неё теперь
из-под век, налитых ночным свинцом!

Скомканные пустые чулки.
Скомканные пустые слова.
На безымянном её правой руки
тонкий след кольца заметен едва.

Ну что ж, ты выиграл, Дон Жуан!
Ты счастлив? Этого ты хотел?
Командор не придёт. Он мёртв. А ты пьян,
и здесь не театр, а дрянной отель.

Тебе не уйти со сцены, хоть плачь!
Твой приговор пострашней галер:
сам себе режиссёр (а точнее – палач),
прикованный к амплу «жюн премьер».

Она тебя старше годков на пять
(утренний свет жесток – се ля ви!),
и она не умеет ни ткать, ни ждать,
и не то чтоб очень ловка в любви.

Не научилась ни шить, ни жить,
не получилось детей рожать...
Почему так тупы, чёрт возьми, ножи!..
Командор не придёт. Он мёртв. А жаль...

Донна Анна

Скомканная чужая постель.
Скомканные пустые слова.
Так устала я, Господи, от потерь,
что осталось только идти ва-банк!

Я хной подкрашу седую прядь,
кармином губы я подведу.
Я уже потеряла страх потерять,
но боюсь найти на свою беду!

На свою, на его ли беду
напою нас двоих допьяна...
За одну эту ночь мне гореть в аду –
так пускай уж тысяча и одна!

Но тот, кто рядом со мной лежит,
не может ни давать, ни дарить:
он глотает, давясь, и любовь, и жизнь,
будто наперегонки, на пари.

Он не умеет пить, как гурман –
не торопясь, смакуя глотки.
Победитель! Мне тебя жаль, Дон Жуан:
остатки не сладки. Они горьки.

Они сухи, как мои глаза,
и ядовитей змеиных жал...
Пей! Это вино ты сам заказал!
Командор не придёт. Он мёртв. А жаль...

Командор

Скомканная пустая постель.
Скомканные чужие слова.
При жизни я двери сорвал бы с петель,
но смерть всегда – поражение в правах.

Мёртвые сраму не имут... Честь? –
Пустое, так же, как месть и страсть!
А впрочем, одно преимущество есть:
мертвеца нельзя убить ещё раз.

Я не знаю, зачем я пришёл сюда
(скука – проклятие мертвецов!),
не для поединка и не для суда,
а просто – увидеть ЕЁ лицо...

Что ж, меа кульпа – моя вина!
Я не успел (или – не сумел?)
ей объяснить, что любовь – не война,
где после сражения – груды тел.

А Дон Жуан – не учитель ей,
он сам невежествен, как монах...
Я готов пережить хоть сотню смертей,
чтобы ей помочь, но – увы и ах!

Она простит эту ночь ему,
но не себе... Куда ей бежать?
Дверь заперта. Окно раскрыто во тьму.
Командор пришёл, но он мёртв. А жаль...

Сергей ТРАНОВСКИЙ
Вунперталь

Бесконечная дорога.
Лето, пыль, жара, изба.
У отцовского порога
Начинается судьба.

Снятся юности забавы.
В небе полная луна.
До последней переправы
Не одна ещё весна.

Много времени у Бога.
Коротать – не скоротать.
Кому дальняя дорога,
Кому Божья благодать.

А в небесные отроги
Путь бесхитростен и прост.
Лето, пыль, жара, дорога.
У отцовского порога
Дрожки. Музыка. Погост.

Лист последний, осенний, оторванный
Закружился в потоке дождя.
Вновь не склеить того, что разорвано.
Не вернуться на круги своя.

Не узнать в птичьем гаме предутреннем,
В тусклых бликах далёких светил
Голос тот, что когда-то с заутрени
Меня в детстве домой приводил.

Век двадцатый растаял, как марево.
Не нашёл я дорогу туда,
Где над лесом кольшется зарево
И гудят об одном провода.

Об одном, что горит ярче яркого,
Поднимаясь, как дым из печи.
Бог Авраама, Исаака, Иакова,
Не оставь, не забудь, не молчи.

Дорога домой. Это куда?
Туда, где ждут.
Дорога домой, это для чего?
Чтобы обрести покой.
Дорога домой. Это когда?
Всегда.

Из цикла «Посвящается моим родителям»

Я не знаю того, что написано в книге печали,
Я не знаю, Господь, что Тобой предназначено мне,
Но ночной звездопад и цветущих каштанов вуали
Память, горькая память всё рисует в предутреннем сне.
В этом сне старый дом, за окном уходящее лето,
Абажур, жёлтый свет, запах детства и ужин втроём.
Как давно это было... О Господи, было ли это?
Время, чёрная птица, горизонт закрывает крылом.
Горизонт от земли до погоста у дальнего леса,
Где могила, и крест, и малина, что крови красней,
Как последний аккорд до-минорной Божественной Мессы,
Что от неба до неба и обратно в обыденность дней,
Дней начал и концов, дней, неспешно слагающих годы,
Через Лету плывёт нагруженный веками паром,
И сквозь воды забвенья, горькой памяти горькие воды –
Абажур, жёлтый свет, запах детства и ужин втроём.

Марина ЗАРЕЦКАЯ

Кёльн

В окне висела сумерек зима,
московский дворик съёжился от стужи.
Роскошный пир картошки стыл на ужин,
весна была еще так далека.

Ты, слившись шалью с серой табуреткой,
о кружку с чаем грела два крыла.
Пила «вприглядку». Сладкою конфеткой
застыла в чашке – желтая луна.

Вернется он, тебя возьмет за плечи,
в твои глаза бездонные взглянет.
И скажет: «Ангел! Ты, мой ангел!». Вечер.
Январский вечер. Сорок первый год...

Вы правду не узнаете мою,
я не узнаю вашу. Впрочем, бросьте.
Какие тучи! Может быть, к дождю?!
Застыл будильник на отметке восемь.

Перевернув уже привычный мир,
восьмерка утекает в бесконечность...
Давай закатим грандиозный пир,
Низвергнув с трона глупую беспечность.

Искать котурны, чтобы выше стать
каких-то истин, старых заблуждений.
В тени сомнений с зонтиком стоять,
боясь споткнуться о заборы мнений.

Но вдруг, услышав Jamming Bob Marley,
багаж ошибок на дороге бросить.
И, не боясь, что за плечами осень,
брести, пусть босиком, к своей мечте!



Фото Бориславы Авцен

Владимир ПУГОВ

Москва

Здесь у пространства изгиб.
Вам невдомёк, а я знаю.
Медленно тянется гриб
К солнцу далёкому, к раю.

Тихо сияет звезда.
Может, и я здесь – не лишний.
Где-то в пространстве беда.
Вдруг не успеет Всевышний?

Я тороплюсь со всех ног.
Кто ещё рядом поможет?
Что из того, что – не Бог?
Я ведь подобие всё же.

Не так...

Жизнь прожил неумело
и вовсе не так, как хотел,
ерунды было много
и мало значительных дел,
своих женщин, которых
так нежно и пылко любил,
оставлял так бездумно,
как будто деревья рубил,
и так редко заглядывал
маме помочь и отцу –
оттого и бегут эти слёзы
по смятому ночью лицу.
...Незадолго до смерти,
за шаг до большого прыжка,

человеку становится стыдно
себя – дурака.

Я был раньше ветром

И тысячу жизней прожить для меня не в новинку.
Я был раньше ветром, и птицей, и зверем лесным.
Я помню гнездовье, и тропы, и даже дробинку,
что больно вонзилась над клювом моим расписным.

И медленно, падая с вечности, перья кружились,
и ласково в листья меня принимала земля...
А в жизни другой мы – олени – отчаянно бились,
мечтой о потомстве весеннюю кровь веселя.

...Где ты, полускрытая дымом курительниц, жрица?
Истица, жар-птица, жиличка избы-шалаша?
Я вновь воплощаюсь во все, что должно народиться
и заново жить, обжигающим ветром дыша.

Кенгуру

Ты ласкалась ко мне, как всегда, поутру,
и был смех твой прозрачен и звонок...
И скакал по обоям твоим кенгуру –
молодой кенгуру, кенгурёнок.

Восемь месяцев жили мы, как короли,
по два дня не вставали с постели...
И любили друг друга, как только могли.
И над нами архангелы пели.

Жаркий шёпот над ухом: «Сейчас я умру,
у кого подзанять бы силёнок?..»
А меня по Австралии нес кенгуру –
Молодой кенгуру, кенгуренок...

И зачем мы расстались, так пылко любя?
Переменчивы судьбы людские.
Если в городе том не найти мне тебя,
то хотя бы – обои такие...

Мне позвонил Пафнутий

Положив пятак под пятку,
я станцую вам вприсядку,
это мне как физзарядка,
как с утра – медку лизнуть.
Так пройтись по коридору
лишь крутым танцорам впору,
у которых от задора
до прыжка – короткий путь.

Для внезапного веселья
повод есть и банка зелья.
Соберу друзей теперь я
и вскричу: «Мгновенье, стой!».
Мне сегодня из Якутий
позвонил поэт Пафнутий! –
фу ты ну ты, ножки гнуты,
ёлки-палки, лес густой!



Сергей ЗУБКОВ

Ридштат

пока она мне наливала шей
прикрыв глаза сиреневым зигзагом
я жадно погружался в суть вещей
хранимых мировым универмагом

пока она вощила сапоги
стирала форму делала аборты
я поучал «Америка – враги»
и спиртом чистил полости аорты

пока она тянула двух детей
отцу в тюрьму носила передачи
я высекал из сжатых челюстей
про наши отношения «без сдачи»

пока она назад меня ждала
болела и домашних хоронила
я сумасбродил «делая дела»
и телефон не брал когда звонила

пока она терпела это всё
надеясь что молитва вознесётся
я всё-таки попал под колесо
которое теперь по мне несётся

Давай поменяем порядок

давай поменяем местами порядок
который сложился на наших свиданьях
ведь мы не растения с вянущих грядок
что вечно нуждаются в ДОполиваньях

поставим шампанское снова на полку
лимон и нарезку вернём в холодильник
считай что мы просто ушли в самоволку
от быта и правил его инфантильных

мы станем такими как нас сотворила
природа, из лучших своих одеяний
без сытости мяса без нежности сыра
и без согревающих кровь возлияний

пусть будет потом от шампанского сладок
твой рот повторивший кольцо мирозданья
давай мы хоть раз поменяем порядок
того как случаются наши свиданья

Говори

говори говори говори
заговаривай душу словами
почитай перед сном буквари
на странице где битва со львами

расскажи как лесные цари
веселятся у края обрыва
говори говори говори
говори со мной без перерыва

согревая мои октябри
разноцветными листьев кострами
говори говори говори
говори золотыми устами

а когда зацветут пустыри
бирюзой поднебесного цвета
всё равно говори говори
говори говори мне про это

Рыжее вдохновение поэта

Я – пацан. Я такой же, как ты,
Как и ты, моя милая девочка,
Но тебя вдохновляют цветы,
А меня – на чулке твоём стрелочка!

Полюблю эту кухню и дым
Сигарет, что к утру мы докурим,
И восторженность быть молодым,
Вопреки предсказателям хмурым.

Полюблю по утрам кофеёк,
Бутерброд из хрустящего хлеба
И победную формулу ног,
Осеняющих чёрное небо.

А потом забирают стихи,
Проникая из божеской ниши,
И смываются злые грехи,
О которых написано выше.

О которых написано так,
Будто не было дела важнее,
Упокоиться в смертных грехах,
Что нас делают с жизнью дружнее.

Иногда, опускаясь на дно,
Удивительно рыжего цвета,
Понимаешь, что только одно
Вдохновение есть у поэта.

мы не спорим родная не спорим
только сердце не может мириться
если час расставание шпорим
выражением злости на лицах

мы не спорим родная не спорим
это наше прошедшее время
убедившись что счастье хороним
отсылает назад хризантемы

мы не спорим родная не спорим
а стреляем родная стреляем
прямо в ТО что сначала построим
прямо ТЕМ что затем позволяем

Настоящий интим

я всю жизнь воспевал настоящий интим
а теперь получаю награду
мы выходим с тобою когда захотим
погулять по осеннему саду

нам опавшие листья навстречу плывут
ветра нет и темнеет неспешно
опустились на землю небесный уют
и спокойная жизнь после грешной

настоящий интим когда ходим вдвоём
вспоминаем и гладим запястья
а куда мы идём и зачем мы идём
безразлично для нашего счастья

Долги

Я одолжил себе себя...
Долги, что создавал годами,
Теперь приходят, тербя,
То «при параде», то «задами».

Я одолжил себя любви
На много-много расставаний,

Я столько слов наговорил
За счёт сегодняшних молчаний!

Я одолжил себя друзьям
На тысячи рукопожатий
И даже будущим врагам
Ладонь протягивал разжатой.

Я одолжил себя семье...
И, притворяясь, что хороший,
Я одолжил себя тебе,
Совсем не представляя ношу.

Спешу долги согласовать,
Готовясь к исповедной встрече.
И нужно, нужно отдавать!
И нечем...



Евгений ХАГАН
Дортмунд

Свобода у берега моря, или Хорошее настроение

Я был на море... В облом – купаться.
Взглянул на воду. (Был ранний час).
Она сначала блистала гляncем.
Поздней – волнами произвелась.

Глядел на гладь я. Глядел на волны.
...Дельфиний свист – не белужий вой!
Верлибр просился неполноводный.
Но море ритм диктовало свой.

А в море рыбы, – акулы даже, –
под синей сманивающей водой
в покое полном, – и – полном раже, –
обмениваются со средой, –

как мы на море (да и – на суше...).
И: сколько надо! – как раз! – воды!..
Недаром скушал японец суши,
а океан поглотил следы.

На пляже пусто. Ни... кабинета.
Но траулер тянет в сетях улов.
...Какая, всё-таки, блин, планета!!!
(Не водный кайф, – так: подлёдный... – клёв!).

В селе – рыбацком ли; в царстве ль – датском;
в краю ль – страстей; от всего ль – вдали, –
мы поселились! И... – всё – удастся.
А чаша моря – есть соль Земли.

У нас немало ещё задач.
Но
планета – сказочно! – хороша!
Мы поселились весьма удачно.
...А влага моря – её душа.

*5.08.09, Орпеза,
5.11.10, Йокогама,
5.10.11, Копенгаген*

«Киевский торт», или Отфутбольные качества рынка

...При виде не глазуньи, – так: лазаньи;
река ль течёт, играетя ль игра, –
на мир гляжу открытыми глазами, –
уж не намедни съехав со двора.

Взыскующий ли сноб, – иль дряхлый мальчик, –
жизнь самоё кладущий на алтарь, –
я всё ещё притягиваю мячик, –
удачливый по-прежнему вратарь.

...Ворчащий ли геронт, иль древний отрок, –
я, право, не герой; хоть и учёл:
преследует меня который год рок,
не знающий, к тому же, – что почём.

Но... добродетель! – в счастье и в несчастье, –
непринуждённым дням светя в пандан, –
мне помогала славно защищаться.
(Я никогда почти не нападал).

...Спортивный ль старичок, – иль: ветхий инок, –
я не могу привыкнуть до сих пор,
что всё на свете есть один лишь рынок;

а: общества «естественный отбор» –
не стоящий и ярмарки в сельпо
безжалостный базарный поединок.

Что – образ мысли; гул на дне колодца;
обзора угол; судеб виражи, –
всё... предлагается; всё – продаётся,
как... рыбий жир, – иначе не скажи!..

И – что: возможно (здесь бы... проколоться! –
в потусторонье медленно всплыва), –
в своей основе также продаётся
любовь твоя. Твоя!.. Да... не – моя!

И... там, – с той стороны, – Господь где с чёртом
пируют у Вселенной на краю, –
что? – с «Киевским» моим мне делать тортом?!..

Торгуйте поскорей судьбу мою!

Замену! – киперу: готовь, мой коуч, – реторту!..

О Любви, и Вере, и... Карьере

Согласно данным социологических исследований, в девяностых годах 20-го и «нулевых» этого века ужасающий процент девочек и девушек на бывшей 1/6-й (и ныне – 1/8-й) части суши мечтали, оказывается, освоить и получить определённую, – когда-то весьма экзотическую, хотя и самую древнюю, – профессию. Огромное число школьников в классных сочинениях «Кем я хочу стать» тоже последовательно отстаивали и мотивировали аналогичное своё желание и преимущества подобного выбора; строя соответствующие далеко идущие жизненные планы. У поколений, воспитанных в условиях советских как демагогии и ханжества, так и весьма специфической, но по-своему абсолютно аутентичной духовности и идейности, – подобное долго не укладывалось даже в воображении. В частности, и с этим, возможно, связана несколько запоздалая реакция автора (папы двух дочерей – 39 и 17 лет

соответственно), «сработавшая» у него, как обычно, чисто свободно-ассоциативно после преследования танцами «Главный вокзал Дюссельдорф» на участке Кёльн–Дортмунд в ночь 22-23 февраля 2010 года за пару часов до рассвета...

Казначейства...
холдинги и зámки...
яхты... виллы...
знает – большинство!

...Возжелали девки в... куртизанки.
Мол, – добиться проще так – всего!

Дошлые ли стервы, однодневки ль;
осень на дворе или весна, –
стрёмную специальность хотят девки!
(Данными – статистика красна!).

Жизнь кляня и власть кляня; систему
(с папой, мамой, бабушкой – инфаркт!), –
поп не отпаяв от школьных парт:
мол, – с такой профессией им – фарт! –
пишут сочинения на... тему.

...Школьных сочинений бум бумажный!
Профориентация – видна:
мол, – надёжней всех день ото дна!
Феномен воистину сермяжный:
все профессии, мол, и нужны, и важны;
по графе и по шкале продажной
популярна больше всех... одна.
...По хорошей и плохой погоде
в глаз любви попавшие иль в бровь,
девки, продающие любовь,
после...
растворяются.
(В народе).

Харина БАХМУТСКАЯ
Дюссельдорф

ПАРОДИИ-СТИЛИЗАЦИИ

ИнтерДалила

*«Мне, ни Европейке, ни Азиатке,
мне, мисс Между-Между...
...Кто ест людей?–
Тучных и сочных,
нежных, непрочных –
автобус...»*

*«...А вдогонку кричат: «Становись!
Матерью, женой. Любовницей, кем-то...»
А я не умею так, чтоб как надо.
Я выверну платье и всё наизнанку,
пойду – засмеют меня до истерики...»*

*«Когда я буду отплывать за море...
всё мое уместится в кармане
в виде крошек вчерашнего хлеба
и свалявшихся катышков ткани...»*

*«...Помнишь ли ты, Самсон,
свои волосы длинные?..
А она доставала свои тонкие ножницы
И срезала снова и снова...»*

Ксения Крапивина

Мне, ни европейке, ни азиатке,
мне, мисс Между-Между,
удалось себя выдернуть из забурьянившейся грядки
и подыскать иную, чем власяница, одежду.

А, прель! Старьё! Трюизмов плесень! Корзина для бумаг полна.
Держись, Марина-поэтесса, ло-май, и юнь, и июль до дна!
А в густ-о писаном узоре «Се-нтябрь!» –

вдруг истина мелькнёт.

Строка грузовиком в заторе, – де, кабрь, о, ктябрь – не замрёт.
Обычный пасынок Евтерпы, на тройку с минусом стихок –
каких не счесть. Но – ябрь, я верю! –

он станет краше, дайте срок.

Поэтологический экзерсис-конструктор

Авангардную косточку в тёплую землю зарю,
разверстую вдали,
как продрозвёрстка.
Через четыре года
(только две, только две зимы)
здесь будет город садо-мазо
(когда б вы знали, из какого сора
растут они, не ведая стыда,
и в новомодных ветхих шушунах
они шуршат в дремучих дебрях ночи!)
А, кстати, знаете ли вы украинскую ночь,
улицу, фонарь? Аптеку,
когда не в шутку занемог?
Доедут колёса до Москвы иль не доедут?
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
вы, я вижу, бескорыстно любите деньги?
Ананас в кокаине, лабардан-с в кокаине –
удивительно вкусно, искристо, острО!
Я ищу свободы и покоя,
я б хотел забыться и уснуть и видеть сны:
люди, львы, орлы и куропатки,
рогатые олени и синий вол, исполненный очей...
Офелия, о нимфа в белом венчике из роз,
куда ты ведёшь нас?
Не видно ни зги...

Тут, на эмигрантском берегу

*«Я утром шёл по линии прибой...
Стояли чайки важно, как начальники»*

*«...и почему процент русоволосых
участников курносых очень мал?»*

«Неуютная плоскость. Облупившийся циферблат...»

«...блёклой соли узор выступает на небе чужом...»

Исак Крроза

Да, здесь
чайки пищат,
но, увы, не растут
совершенно деревья,
здесь о чистой волне
не приходится думать уже.
Чужеглазых, высоких и
ладных не алкаю дев я,
мне ещё не хватает
зачем-то
славянских
родных типажей.
Потому
что я гол,
я утратил
нагретую шкуру.
Я на ролики, кем-то
уж стёртые, встать не могу.
И приятной кислинкой
ласкают язык тары-бары
про нашу культуру,
и ошмётки амбиций летят
с циферблата, как льдинки в пургу.

Генрих ШМЕРКИН

Коблени

Сонм сомнений. Ролей разборки.
Мельтешенье актёрских лиц.
Занавешенный мир гримёрки,
Благодатная пыль кулис.

Не мешайте! Закройте двери!
Обретает черты мой лик!
Настаёт упоительный пере-
воплощенья волшебный миг!

Судьбоносны вериги текста –
Роль затвержена наизусть.
Мне от них никуда не деться –
Я на бал Сатаны несусь.

Сердце замерло. Что вы смотрите?!
Миг спустя я вернусь сюда!
Всё. Мой выход. Свет рампы. Смокинги.
«Кушать подано, господа!»

Стихи о вернувшейся любви

Я завязал со старым
И встал на верный путь.
И после тяжкой кары
Свободно смог вздохнуть.

Я позабыл те ночи,
Очей лазурный свод
И поступил рабочим
На дизельный завод.

За форткой – перестройка
Грохочет, словно дрель...
И вдруг однажды зорькой
Звонит мне кто-то в дверь.

Открыл – гляжу (редиска,
В натуре, ну, дела!) –
Любовь-рецидивистка
Опять ко мне пришла.

Стоит, белее мела,
С улыбкой напускной
И говорит: «Есть дело.
Пошли опять со мной».

Нырнуло сердце в икры:
Опять мотать мне срок?! –
Не выйдет! В эти игры
Я больше не игрок.

Я разогрел ей сразу
И супчику налил,
Похавать дал, заразе,
И с лестницы спустил.

Ору ей вслед: «Урою!
Размажу по стене!
Такого геморроя
Не надо боле мне!

Прощай, шальная дива,
Катком тебя дави!»
...С тех пор живу счастливо
Без грёз и без любви.

Телефонный звонок

Е.П.

То, что было, не воротись.
...Вдруг – из тьмы небытия –
В богом проклятый Воронеж:
– Здравствуй, Катя! Это я!

Помнишь – дождичек весенний,
Небо, звёзды, тихий сад,
Гроздь пенистой сирени –
Сорок лет тому назад?!

– Кто вы? Что вы? И откуда?!
Внученька, прикрой балкон!
– Катя, ты? Какое чудо!
– Кто вам дал мой телефон?!

– Помнишь, Катя, нашу зиму?
Голубые купола?!
– Ты? Не может быть... Любимый...
Я всю жизнь тебя ждала...

– Катя, Катенька, Катюша,
Дорогой мой человек!
– Через столько лет... Андрюша...
– Кто Андрюша?! Я – Олег!

...Катя, Катенька, Катюша,
Вздохи, звёзды, тёмный сад,
Рюши, яблони и груши –
Сорок лет тому назад...

§ Зал переводчика §



Вильгельм (Вильхельм) ШЕФЕР

1868-1952

Немецкий писатель Вильгельм Шефер родился в семье сапожника. Получил специальность учителя начальных классов. Долго жил и работал в Герресхайме (сейчас – часть Дюссельдорфа).

Дружба с Рихардом Демелем стала поворотным моментом в его судьбе – он начал писать и публиковать свои произведения. Позже был дружен с Германом Гессе (Германом Хессе). Известен в основном короткими рассказами и анекдотами. В немецком языке анекдот – это забавный рассказ из жизни исторической личности.

Р. III.

ГРАФИНЯ ХАТЦФЕЛЬД

Нельзя сказать, что европейские государи представляли перед сыном корсиканского адвоката преисполненные мужской гордости. Некоторые, в щекотливые для них моменты, чреватые немилостью императора или похуже, не пренебрегли даже тем, что позволяли своим жёнам выставлять напоказ их прелести. И делалось это не всегда из такой жестокой необходимости, как в случае с графиней Хатцфельд. Она пала к ногам императора отнюдь не по доброй воле, а лишь ради спасения мужа.

Граф Хатцфельд был, разумеется, не похож на героя¹, который сразу после битвы при Йене повелел гувернёру, прежде чем исчезнуть самому, провозгласить берлинцам, что спокойствие

¹ Примечание переводчика. Речь идёт о князе Фридрихе Вильгельме III, покинувшем город вместе с семьёй перед наступлением французов.

должно быть первой заповедью для бюргера. Этому призыву он весьма изысканно сам попросту не придал никакого значения. Однако из его переписки с князем Хоенлоэ-Ингельфинген можно было при желании заключить, что оба они ни больше ни меньше как ярые сторонники свержения государственной власти с помощью тайного политического заговора и что они до последнего момента и заняты как раз тем, что готовят почву для подобного рода неприятностей новому властителю при европейских дворах. Одно из таких писем было перехвачено, и граф предстал перед военным судом, сам того не подозревая, в роли чуть ли не мученика за прусскую свободу.

Смертный приговор был уже зачитан, когда графине, стесняющей об отце детей своих, было позволено отправиться на аудиенцию во дворец.

Это был ветреный осенний день, государь собирался выйти на прогулку, он был уже в шляпе и при шпаге, когда дама, охваченная страхом, решилась скрепя сердце преклонить перед ним колени.

Просительницы приходили к императору ежедневно, и он привык к этому. Ожидающий самого дурного из-за мелочности незадачливых интриганок и будучи заранее раздражён этим, он был готов не дать ей возможности до конца высказаться. На удивление, женщина, кажется, отнюдь не выпрашивала привилегий – она взывала лишь к милосердию. Государь жестом поднял её с колен и, вручив перехваченное письмо её супруга, позволил ей самой прочесть его, вкратце объяснив, что содержание письма заведомо исключает всякую возможность помилования.

Бедная женщина взяла в руки аккуратно сложенный белый лист, цена которому – жизнь мужа. Император в это время беспокоенно, как потревоженный зверь, ходил перед ней из стороны в сторону, застёгивая перчатку. Руки графини так дрожали, что надрывали бумагу, а слёзы, струящиеся из глаз, мешали читать письмо.

Император, заложив руки за спину, по привычке остановился у камина и наблюдал за маленькими голубыми всполохами огня, которые весело плясали поверх пышущих жаром углей...

В камине раздался лёгкий треск, и раскалённая искра, в мгновение ока выскочившая из самого пекла, описала дугу и упала прямо у ног властителя, вспыхнув на миг в последний раз и погаснув. Государь привычно, словно на поле брани, отдёнул ногу, облечённую в сапог из тонкой кожи, – ногу, которая на полях сражений уже растоптала немало стран.

Женщине вдруг показалось, что искра угодила не к могущественным сапогам, а в её смятённую горем и ожиданием худшего голову. В то же мгновение гордая супруга обречённого герцога пришла в себя, хладнокровно подошла к камину, бережно и почти торжественно склонилась к огню и возложила бумагу на пляшущие языки пламени...

Запылавшее письмо осветило ещё не высохшие от слёз глаза просительницы. Она со спокойной улыбкой взглянула в лицо ошеломлённого императора. Император не успел даже руку протянуть, чтобы помешать ей.

Властитель возрос вовсе не в окружении дипломатов – в далёких полях его родины юноши играли в игры, в которых бесшабашная храбрость являлась мерилom всего.

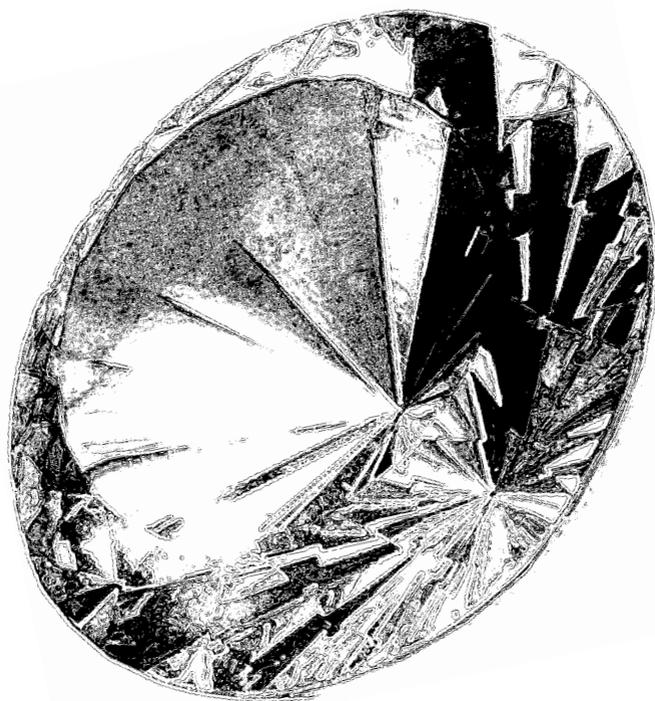
Задумчиво опустив глаза, не сказав ни слова, он галантно взял её руку – такую же маленькую, как и его собственная – и поцеловал её.

Графиня очнулась от порыва своей безрассудности и сообразила, что произошло только тогда, когда она в сопровождении гвардейцев оказалась на улице.

В чём она была точно уверена, так это в том, что император сердечно и как-то ободряюще-заговорщически улыбнулся ей, словно своей сестре.

Перевод с немецкого Раисы Шиллигат

Лёд
и пламень



Василий БЕТАКИ

Париж

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ЗА 30 ЛЕТ (1956-1986)

Василий Бетаки – русский поэт и переводчик поэзии, историк архитектуры.

Родился в 1930 году в Ростове-на-Дону. С 1931-го жил в Ленинграде. Учился на Восточном факультете ЛГУ (иранистика). В 1960 году окончил заочно московский Литинститут. Ученик Павла Антокольского и Татьяны Гнедич. Работал учителем, режиссёром самодеятельных театров, инструктором верховой езды, главным методистом Павловского Дворца-музея. Первая публикация – в 1956 году. Спустя девять лет в Ленинграде выходит первая книга стихов. С 1965 по 1972 год был членом Союза писателей. Переводил поэзию с английского и немецкого, писал литературные передачи для радио, руководил литобъединением. В 1971 году стал победителем конкурса перевода трех «главных» стихотворений Эдгара По («Ворон», «Колокола», «Улалюм»), которые были напечатаны в двухтомнике Эдгара По («Художественная литература», 1972) – последняя публикация автора перед эмиграцией.

С 1973 года Василий Бетаки живет в Париже. Двадцать лет проработал на радио «Свобода» и восемнадцать (в то же время) в журнале «Континент». Был одним из организаторов переправки в СССР запрещенных там русских книг, изданных на Западе. За время жизни во Франции у него вышло одиннадцать книг стихов, книга статей о современных русских поэтах и восемь книг переводов. С 1989 года Василий Бетаки снова публикуется в России. Постоянный автор петербургского журнала «Звезда» и франкфуртских журналов «Мосты» и «Литературный европеец».

Предлагаем вашему вниманию главы из нового издания книги Василия Бетаки «Русская поэзия за 30 лет (1956-1986)»¹.

От автора

Впервые книга коротких статей о поэтах, живших в указанный период, опубликована 25 лет тому назад.

Поскольку это не история литературы и не литературоведческое исследование, а живая летопись, книга, написанная по-

¹ Книгу в полном объёме можно прочитать – <http://tarzanissimo.livejournal.com/>

этом и критиком, говорящим о своих современниках, большую часть которых автор знает или знал лично, то рано и невозможно расставлять поэтов по полочкам – значение того или иного имени выявляется позднее. Кроме того, в столь кратких очерках автор ставил перед собой одну задачу: показать то главное, «зачем и для чего» тот или иной поэт возник, и обрисовать бегло его «портрет», его «лица необщее выражение».

Новое издание этой книги очень не похоже на первое, вышедшее в Йельском университете в 1987 году. Тогда часть тиража подпольно была переправлена в СССР, часть разошлась по университетам США и Европы, а часть попала в Россию уже после 1987 года.

1. Из книги вынуты статьи о 10 совершенно случайно и незаслуженно забытых поэтах (при издании впервые этой книги их ещё помнили) и представлены как отдельная книжка «С неводом по берегу Леты».

2. В книге была ранее отдельная глава о некоторых интересных поэтах-переводчиках, но это теперь тоже тема отдельной книги.

3. Некоторые поэты, переставшие писать после первой книги стихов, во второе издание этих очерков не включаются.

4. Многие статьи переделаны и дополнены.

Рассказывая о советском периоде русской поэзии, можно и должно говорить об индивидуальности каждого поэта, о том, что сквозь официальную маску соцреалиста, сквозь прокрустову нивелировку прорываются, хотя бы частично, истинные поэты. Но и это стало видно лишь после 1965 года, после так называемой «оттепели». В период же с 1934 по 1956 год только самые крупные поэты, такие как А. Ахматова или Б. Пастернак, продолжали проявляться как поэтические индивидуальности, но их в это время практически не издавали.

Никому не известно, скольких убил идеологический диктат. Скольких убил простая бюрократия. Но тем, у кого, кроме таланта творческого, было то, что Марина Цветаева назвала «талант личности», удалось прорваться сквозь «гуманистический туман», сквозь уравнивание и замораживание.

Все это относится, конечно, к поэтам, официально существовавшим: эмигрантские или самиздатские поэты от этих

прелестей были избавлены, но и заплатили за это избавление немалую цену... Многих это сопротивление только закалило, многих научило эзопову языку, обогатив тем самым их образную систему. Но иные так и не сумели прорваться, как умерший в неизвестности еще в до-самиздатские времена Роальд Мандельштам – первая ласточка нашего, «оттепельного» поколения.

Чтобы дать общую поэтическую (и таково уж было время, что через нее неминуемо было показать и связанную с ней тогда политическую) картину этого тридцатилетия, необходимо рассказать не только о поэтах «хороших и разных», но и о поэтах плохих и одинаковых, которые характеризуют эпоху самим фактом своего существования. Это фигуры, оказавшие не поэтическое – скорее антипоэтическое влияние на литературный процесс, но без некоторых фигур он просто будет непонятен. Ибо тут уместно перефразировать поговорку 60-х годов и сказать, что «страна должна знать своих палачей», хотя бы и «только» литературных. Разумеется, есть тысячи имен, вообще не представляющих интереса. Этот летецкий мусор не стоит и общего списка, все, что о нем можно знать, содержится в адресном справочнике СП СССР. Книжное болото – не море – сочинений этих членов (СП имею я в виду) – факт не литературный, а социологический, и относится не к литературе, а к советологии. Впрочем, порой и просто к криминалистике, как литературная биография некоего Сергея Орлова.

Итак, это вовсе не курс истории литературы, но и не просто сборник статей о разных поэтах. Это мозаика литературного процесса со всеми его приключениями и метаморфозами за тридцатилетие, которое событиями богаче порой, чем иной век.

Мозаика в этот период складывается из отдельных индивидуальностей, а не из школ или групп, как это бывало в другие времена. В реальной советской литературной жизни появление группы или школы было только уделом игравших в это подростков, да и те могли за свои игры жестоко поплатиться. И всё же в самом конце пятидесятых годов начали появляться если не группы или школы всерьез, то хотя бы манифесты их.

Как минимум существует три причины тому, чтобы не придавать значения этим заявлениям и не принимать всерьез эфемериды.

Как правило, ни один крупный поэт в рамки школы или направления не укладывается по определению. Это справедливо и для тех времен, когда таковые школы реально играли сию роль. Но в любую эпоху типичным представителем того или иного направления бывает посредственность. Так, о символизме полное представление дают Бальмонт и Брюсов, но засунуть в эти рамки Блока – немислимо.

Самих школ и направлений в обычном понимании этого слова в России более полувека не существовало в результате «идеологической политики партии». Официально публикуемая поэзия в иные периоды унифицировалась более жестко, в иные – менее, но за пределы канонов модернизированного классицизма (соцреализма) ее старались не выпускать. Когда же в девяностых годах появилась, казалось, желанная пестрота, то она на поверку оказалась кучкой манифестов, не подтверждённых самой литературной действительностью.

Возникновение групп и группок, попытки написания этих широковещательных манифестов, сочиняемых «для истории», во все времена было скорее детской игрой, чем осознанием смысла того или иного перекрестка на пути литературного процесса. «Школу определяют не современники, это происходит задним числом, оно и к лучшему» (В. Вейдле). Надежнее верить в тех, кто пишет стихи, а не манифесты...

Разделение по периодам или поколениям, безусловно, точнее, чем по иным критериям, хотя и тут границы размыты. Поэтому я предлагаю свою периодизацию внутри рассматриваемого тридцатилетия, хотя сознаю, что и она приблизительна. Но каждое из поколений всё же отражает свой отрывок истории. Хочет оно того или нет, но между поэтами-ровесниками всегда есть нечто общее.

Итак, я разделил книгу на четыре части.

Первая её часть – «Последние из могикан» – о поэтах, сформировавшихся в конце Серебряного века, но продолжавших писать и после 1956 года. Это поэтическое поколение почти не

дожило до «оттепели». Но лучшие, кто дожил (не Городецкий, к примеру, а А. Ахматова. Б. Пастернак или П. Антокольский), передали эстафету русской поэтической культуры не следующим за ним стихотворцам, а точно через поколение. И вот почему.

Следующее за остатками Серебряного века поколение – это были те, кто начал публиковаться в тридцатые годы, а то и в дни войны, те, кто не имел никаких традиций, ибо у большинства из них были промыты мозги всею мощью советского идеологического аппарата. Одни из поэтов этого поколения (так называемые «ровесники Октября» и немного более младшие) и не могли иметь традиций по причине вопиющей безграмотности, беспрецедентной в истории мировой литературы и косвенно поощрявшейся властями, а те, кто всё же имел какое-то подобие общей культуры, старались как можно крепче забыть то, что им досталось от отцов, по причине верноподданности, обусловленной или романтической верой, или просто страхом. Безграмотность этих «сталинских соколов» от литературы была весьма воинственна, агрессивна и возводилась официально в достоинство вплоть до анекдотических форм: «Вон, Петя, видите – ничему никогда не учился, а потому как самобытен!» и т.п. Это поколение, в котором процент широко печатавшихся непоэтов (ходивших по редакциям, размахивая вырезками из дивизионных газеток) был просто чудовищен, оно и заняло в литературе место тех, кого зачастую руками этих «надёжных» людей и уничтожали.

Оговорюсь, что среди уничтоженных физически или духовно тоже далеко не все были гении. Нередко в лагеря или под расстрел попадали и полные бездарности. Но в шестидесятых годах в обществе проявилась, в порядке кидания в противоположную крайность, тенденция всех погибших или отсидевших производить чуть ли не в великие. Не надо, как писал позднее И. Бродский, терновый венок автоматически превращать в лавровый. Ну, к примеру, в шестидесятых раздували очень искренне и старательно Бориса Корнилова – весьма посредственного стихотворца. Он был весьма типичен для этого поколения, оглохшего от «маршей энтузиастов» или «песни о встречном» (автор её тот же Корнилов).

Так или иначе, наиболее беспринципные и бездарные люди из этого поколения и поныне претендуют на то, что выросли они на пустом месте, а не на руинах разрушенной ими «буржуазно-помещичьей культуры» (читай – русской культуры). Начатая еще пролеткультами (вспомним булгаковского Берлиоза) попытка «свой, новый мир построить» притащила бесчисленное количество имен стихотворцев и постарше, из этого поколения, именующего себя «фронтным» (они же «ровесники Октября»). Поэзия ушла из их «нового мира», как песок сквозь пальцы, и батальоны советских критиков срочно начали искать для них корни (после войны быть «без корней» уже стало несолидным). Именем В. Маяковского, а затем А. Пушкина и Н. Некрасова прикрыть позор этой массовой стандартизации слова не удалось. Но это поколение (за исключением действительно талантливого меньшинства поэтов, таких как К. Симонов, Дм. Кедрин, Д. Самойлов, Ю. Левитанский, Б. Окуджава и ещё несколько человек), действительно, оказалось единственным «идеологически надёжным». Точнее, не поколение, а те, кто выжил из него, поскольку по законам советского «социализма» возможности выжить и сделать карьеру тем больше, чем виднее бездарность. Кентавр, созданный из перепевов Маяковского горланства-главарства и пушкинских ямбов, оказался чучелом.

Почти половина списочного состава СП СССР в описываемый период принадлежала к этому поколению. Членов – полно. Поэтов – почти нет. Об этом, загубленном, поколении – вторая часть книги «Пропавшее поколение».

Третья часть – «Медный век». Традиции века Серебряного, а с ними и вообще национальные поэтические традиции подхватило поколение, созревшее в послевоенном подполье нашей литературы. Выскочило оно, как чертик из табакерки, поднесенной стране Хрущевым. Россия чихнула, да так, что снова водворить тишину уже не смог никто. После безвременья, после полного отсутствия читательского интереса к современной поэзии залы и аудитории наполнились молодежью, слушавшей своих поэтов.

Серебряный век был очень долго полузапрещен, полузабыт (заставили-таки!), а классика, официально состоявшая из Пушкина, Лермонтова и Некрасова, к коим старались добавить Маяковского, так была заболтана и проедена молью советской школы, что ее не читали – ее в классах «проходили» и отмахивались...

Интерес к поэзии в конце пятидесятых вырвался лавой из дремавшего вулкана, несмотря на бешеное сопротивление и массовое стукачество растерявшихся «ровесников Октября», уже не имевших силы не пущать молодых, рвавшихся на эстрады. Новые поэты выступали много больше, чем печатались. Старшие за это завистливо и презрительно звали их эстрадниками, еще крепче вцепляясь в свои редакции и издательства. Но историческая роль этих новых бунтарей несомненна, хотя бунт их и был милостиво дозволен цензурой. Но уже «цензурой хрущёвской, метавшейся от нехватки точных директив» (А. Галич).

Сразу проявилось разнообразие личностей, вкусов, форм... Стандартность никем не читаемых лукониных, дудиных и софронных сменилась всеобщей несхожестью. Вместо полка пиитов, идущих в рабочем строю за тряпкой с силуэтом Маяковского, возникла пестрая толпа талантов, больших и малых, но почти всегда своеобразных.

Правда, и десятилетия не прошло, как поколение расслоилось: «одни – в никуда, а другие – в князья», одни стали официальными, не потеряв (или потеряв порой) себя, другие – ушли в самиздат, третьи – в эмиграцию. Те, кто продолжал как-то существовать в официальной литературе, не продаваясь, но и не замолкая, порой взбрыкивали, но их партия не закрывала насовсем: они служили примером терпимости и даже «демократичности» того или иного генсека...

После шока 56 года власти оправились, и 68 год, давший новое поколение поэтов, оказался не только годом вторжения в Чехословакию. Новое поколение было встречено отреставрированной и отлакированной ждановской дубиной. Процесс над И. Бродским – одно из событий, устроенных специально для того, чтобы сказать: «Еще раз что-то подобное «медному веку» не пройдет».

Новое поколение, выросшее в кружках и литобъединениях, которыми руководили бывшие бунтари «медного века», вышло на поверхность в свою очередь, но весьма странным образом: судьба его – самая необычная в истории мировых литератур. Отброшенное в «догуттенберговские времена», оно оказалось почти полностью непечатным, самиздатским поколением. Нет явления более противоестественного, чем эта новая поэзия. Если поколение «медного века» вышло на эстрады и в печать, то новых поэтов «ровесники Октября» сумели с помощью евтушенок и рождественских удержать в положении молодых и начинающих до седых волос. Все пути, кроме самиздата и тамиздата для них были закрыты, а эта оставшаяся возможность требовала некоторой смелости и немалых душевных сил... Это наложило отпечаток на их творчество.

Это поколение официально не существовало до самой «перест(р)ойки и гласности». Если его и замечали, то звали неодобрительно «тихими лириками», а такие ренегаты «медного века», как Евтушенко, и в стихах, и в прозе травили их.

Официально в качестве «молодых» в советской литературе до конца восьмидесятых годов ходили усмиранные, давно седые мальчики «медного века». Иные из них, наконец, каясь в своем бунтарском прошлом, получили куски у руководства литературой, которыми состарившиеся «фронтвики» с ними весьма неохотно делилось...

И вот вопрос, которого не обойти: можно ли отделить официальную советскую литературу от неофициальной русской тех времён?? И надо ли их в свою очередь отделять от тамиздатовской? Короче – одна, две, или, может быть, четыре русских литературы? Я уверен, что любое разделение такого рода – фальшиво. Водораздел между самиздатом, тамиздатом, официальной литературой, книгами, проскочившими в печать по недосмотру цензоров, очень зыбок. У одного и того же поэта могли быть и вполне советские стихи, и абсолютно противостоящие властям. Даже в одном и том же стихотворении советские мотивы могли соседствовать с антисоветскими. Взаимопереходы официальной литературы, тамиздата и

самиздата учету не поддаются. О самиздатовском поколении – четвертая часть книги «Тайная свобода».

Итак, книга состоит из четырех главных частей: «Последние из могикан», «Пропавшее поколение», «Медный век» и «Тайная свобода».

Из числа поэтов, доживших до рассматриваемого периода, в книгу не вошли очерки о творчестве А. Ахматовой и Б. Пастернака. Об этих поэтах написано множество обстоятельных работ, и короткие очерки, из которых состоит эта книга, едва ли что могли бы добавить.

Кроме того, само отсутствие в книге того или иного имени не говорит о худшем отношении автора к тому или иному поэту. Так, например, о Леониде Мартынове я не писал, хотя этого поэта люблю и считаю одним из самых крупных в русском XX веке... А такое явление, как Н. Заболоцкий, требует пространной полемики с его апологетами. По моему же мнению, после первой книжки «Столбцы» и поэмы «Торжество земледелия» поэт кончился. А после лагерей начался новый, советский, очень сервильный Заболоцкий, ничем не отличавшийся от всех других сочинителей виршей о Ленине и советском строе (это если даже забыть о «Горийской симфонии»).

При всем желании полноты, объем книги ограничивает и количество поэтов, о которых хотелось бы написать. Но поэзия безгранична...

Часть первая. Последние из могикан

2. Хайд пытается убить Джекила

Попытка отделить русскую литературу от химеры соцреализма сложна тем, что грань между ними проходит порой по самой сердцевине творчества того или иного писателя.

Павел Антокольский умер в возрасте 82 лет. Количество написанного им за полвека работы очень велико. Среди его стихов и поэм две трети, примерно, не читал никто, кроме

редакторов, но если от поэта остается жить хоть одна десятая написанного, то поэт все-таки есть!

Двадцатые годы прочно ввели Антокольского в русскую поэзию. Почти все написанное им тогда – поэзия высокого мастерства и гигантского темперамента. Вот из стихов о Бальзаке:

*Писать, писать, писать, ценой каких угодно
Усилий, исчеркав хоть тысячу страниц,
Найти сокровище, свой мир, свою Голконду –
Сюжет, не знающий начала и грани...*

А вот «Песня дождя» – образ Парижа, где поэт побывал с вахтанговским театром в тех же двадцатых (позднее был он жёстко «невъездной»):

*...Под музыку жёлоба вой мой затаянут,
В осколках бутылок, в обрезках жестянок,
Дыханием мусорных свалок дыша –
Он тоже столетний, он тоже душа:
Бульвары бензином и розами пахнут,
Мокра моя шляпа и ворот распахнут,
Размотанный шарф романтичен и рыж –
Он тоже загадка. Он тоже Париж..*

(Кстати, из последних двух строчек позднее А. Вознесенский вылепил длинное стихотворение: «Шарф мой, Париж мой...»)

.....

В тридцатых годах у Антокольского наступает провал: мы словно бы видим, как год за годом растворяется в ядовитом болоте висящих в советском воздухе обязательных банальностей мощный и неповторимый раскат его голоса. Что же тому виной? Торговал лирой? Нет. И если в отношении слабохарактерного Н. Тихонова это, безусловно, так, то с Антокольским всё обстоит куда сложнее...

И можно ли забыть, что последняя книга его – «Конец века» – производит впечатление тягостное... Как его ученику, мне осо-

бенно грустно об этом писать... Стихи в это время не написаны, тем более не сотворены, а вымученно сконструированы:

*Мы – эстафета дальнего гонца,
Мы – перевыполнение планов смелых...*

Бесполезно спрашивать, где истинный Антокольский. Так же, как нелепо было бы выискивать, кто «настоящий» – доктор Джекил или мистер Хайд. Большой, неистовый, красочный и раблезиански грубый поэт двадцатых годов в конце тридцатых исчез, а возродился всё же только к началу шестидесятых... А ведь это он написал и всем известного «Санкюлота» и «Портрет инфанты»:

*... У короля отца отваливалась челюсть,
Оскалив чёрный рот и став ещё бледней,
Он проскрипел: «внизу накормят Вас, Веласкец»,
И тот, откланявшись, пошел мечтать о ней...
Дни и года его летели в жуткой пляске.
Всё было: золото, забвение, запои
Бессонного труда... Не подлежит огласке
Душа художника: она была собой...*

И это он же в тридцатых стал сочинять стишки о подвигах челюскинцев! (Кстати, капитанов за такие подвиги во всем цивилизованном мире судят!)

Но не приспособленчество тут виной. Так может быть, восторженная впечатлительность? Недостаток критичности? Поверить в сомнительные арифметические правила соцреализма тому, кто знает... Или это было самоубеждение ради душевного комфорта? Убедить себя в том, что подвиг писателя состоит в отречении от собственной личности? Принять это как самопожертвование во имя... Но он же знал, что именно так погубил себя великий Маяковский!!!

Вот этот пафос самоубийства духа, который так у нас старались раздуть в тех идеалистах, которые не продаются.

Вот оно – начало и двигатель процесса, убивающего талант.

Начало отказа от себя всегда окрашено этим соблазном. А еще бывает страх оказаться неправым перед Историей... Не все, конечно, поддаются этому гулу, лезущему в уши, гулу, заполнившему всю страну, но ведь Антокольский был еще и актером! Внушаемость – врожденное профессиональное свойство – она и сыграла с поэтом дурную шутку. Так и произошло то самое, что А. Белинков назвал «Сдача и гибель советского интеллигента» в своей замечательной книге о судьбе Юрия Олеши.

Стоит только поверить в мистическое «надо» (кому надо?), и начнешь превращаться из русского интеллигента в советского, из Джекила в Хайда. И растает талант, и не заметишь как, а потом, когда заметишь, страшно будет себе в этом признаться, и вся творческая энергия, вся сила воображения начнет тратиться на поддержание напряженного самообмана.

Хайд шаг за шагом вытеснял Джекила из вместилища его личности. Как? Частичный ответ – в одном из стихотворений 30-х годов:

*В тот год, когда вселенную вселили
Насильно в тесноту жилых квартир,
Как жил ты? Сохранил ли память или
Её в тепло печурки превратил?
Жги, нечего теперь жалеть и нежить –
Всему – один лишь выход – дымоход!
Зола и дым – твоя смешная нежить,
Твоя смешная немочь, Дон Кихот!*

Кстати, в сороковых годах XX века австралийский поэт Дэвид Мартин сказал, что битва идальго с мельницами – «самая результативная битва в истории человечества».

Отречение от памяти – вот зерно, из которого вырастает та самая разрыв-трава, которая превращает русского поэта в Ивана, не помнящего родства. По словам одного из антисоветских публицистов семидесятых годов, пафос такого самоубийства – «мистическая основа советского социализма». Так вот что оглушило поэта, привило ему смертельную уверенность, что правы всегда массы.

А следующий шаг – массы подменяются теми, кто вещает от их имени, и мы не видим подмены... Так не продавшись, талант даром отрекается от себя, так его берут голыми (и грязными) руками демагоги. Но поэту удалось всё же отбросить «возвышающий обман». И в последние годы жизни к нему вернулось его удивительное мастерство: вот одна строфа из стихов о Босхе:

*... Он сел в углу. Прищурился и начал:
Носы приплюснул, уши увеличил,
Перекалечил каждого и скрючил,
Их низость обозначил навсегда,
А пир в харчевне был меж тем в разгаре,
Мерзавцы, хохоча и балагуря,
Не знали, что сулит им срам и горе
Сей живописец Страшного Суда.*

Вся настоящая поэзия Павла Антокольского представляется мне одним грандиозным театральным зрелищем, почти мистерией, в которой сталкиваются Человек и Время. Время у него вроде античного Рока, и вместе с тем оно невероятно конкретно. Оно – личность:

*Прочтя к обеденному часу,
Что пишут «Таймс» и «Фигаро»,
Век понял, что пора начаться,
Что время за него горой...
Казалось без вести пропавшим,
Что вместе с ними век пропал,
Казалось по теплушкам спавшим –
Он мчал их клавишами шпал...*

Итак, «Время – главный мой герой». Оно меняет маски, совершает преступления и подвиги, оно – судья и подсудимый. И в поэме о споре поэта с самим собой (это ещё в 20-х годах, заметим!) оно принимает облик толпы нидерландских гёзов из революции XVII века. Возникает образ «Армии в пути» – того железного потока, в котором личность обязана раствориться.

И вот вопрос: смирится ли с этим человек? Что есть «категорический императив» – Время или Личность? Для героя поэмы – безусловно, личность, но лишь пока он спит, лишь во сне. Когда же он просыпается, то автор ему навязывает иную позицию – и Время торжествует над личностью. В этой поэме есть все данные для того, чтобы угадать путь поэта в страшных тридцатых и, особенно, в сороковых годах – его отречение от себя. Кто же герой этой поэмы?

*Он – неудачник Дон-Кихот,
Гость в этой армии, искатель
Ненужной истины. Он трезв.
Пятно вина марает скатерть.
Все отказало наотрез
Ему в сочувствии. Все сбито,
Размыто, смято, сметено...
Марает мир уродство быта,
Как это грязное пятно
На скатерти. И так неясно,
Проглядывая, чуть сквозь,
Он бурей века опоясан...*

Личность с ее идеалами в этом мире грязных толп так же неуместна, как неуместен другой герой Павла Антокольского – Франсуа Вийон: он борется со временем и погибает, не сдавшись, как положено в трагедии. А герой «Армии в пути» просыпается, то есть сдается, «каплей сливается с массами», признавая за ними высшую правоту и даже право на преступления «во имя...» Он теряет себя так же, как впоследствии на время потерял себя и его создатель:

*Ты – армия в пути,
Ты – молодость чужая,
Тебя не обойти,
Фортосты объезжая.
Не бойся за меня –
Я стал твоею частью...*

Итак, чужую молодость не обойти – потому и необходимо стать ее частью и в этом найти что-то, что компенсирует потерю себя. Но это «что-то» – и есть золото, превращающееся в глиняные черепки. Сдача происходит с пафосом:

*Довольно снов, и чувств, и песен, и вранья!
Бей зорю, барабан! А тот, с багровым шрамом, -
Сын своего отца и века, как и я!*

Но в главном, наверное, произведении Антокольского, в драматической поэме о Франсуа Вийоне, конфликт разрешается противоположным образом: Время, требующее от личности отказа от себя самой, принимает тут символический образ огородного чучела. Это воплощение пошлости, обывательщины... Это попытки превратить поэта Вийона в подобие такого же пугала. Но они проваливаются: поэт разгадал и оттолкнул эти попытки:

*Ты, раздаватель рваных шляп
Под проливным дождем,
Я чувствую, что ты – пошляк,
Я в этом убежден!*

И стоя перед комиссией сухарей-литературоведов, жуть как похожих на всяких идеологических чучел советского литературоведения, решающих уже в наши дни – а был ли вообще Вийон (или его, возможно, враги существующего режима выдумали), поэт бросает им в лицо слова о том, что он-то есть, а вот их точно нет! О чём и свидетельствует их коллективность, безликость. Просто бессмертное Время переносит из века в век бессмертную пошлость усредненного, общего, ничьего – с которым личности не ужиться.

*Скорей, скорей в мой черный мрак,
В пятнадцатый мой век,
Где после стольких дружб и драк
Истлеет человек,*

*Назад или, верней, вперед,
Чтоб написать хоть стих,
Которого не разберет
Никто из чучел сих!
Чтоб досмеяться, доболеть,
Дослушать, доглядеть...
А песня вновь свистит, как плеть!
Куда мне песню деть?*

В стихотворении «Ночной разговор» уже вовсе мрачный вид принимает все то же Время – это облик современного не то Фауста, не то, скорее, его антипода Вагнера. Оно призывает себе на помощь Мефистофеля, упрекая его в обмане! (а не призывай!).

*Ты же сам мне солгал, обещав,
Что на черных конях непогоды,
Что в широких, как юность, плащах
Мы промчимся сквозь версты и годы...
Посмотри мне в лицо: человек
Цвета пыли. Защитного цвета...*

И ясно становится по цвету этому, что перед нами и верно Вагнер! Кто же он, этот нынешний Вагнер в роли Фауста?

*...Я – сумрак всех улиц и сцен,
Городов обнищавая роскошь,
Мне осталось проверить прицел,
Крепче сжать леденящее дуло,
Чтобы ты из подземного гула
Вырос выше всех выросших цен...*

Вот так и возникает фашизм. И вызвал его к жизни тот самый обыватель, «клерк с пистолетом» или, что то же самое, «советский простой человек», но чтобы не юность получить, а обзавестись «тем, кто всё за нас решит»... Мещанство, нивелируя личность, жаждет диктаторов и порождает их, нередко из своей среды.

Антокольский удивительно точен в своём театре, его исторические картины создаются средствами и живописи, и музыки одновременно. Потому это и есть всегда театр. Вот, например, мелодия бешеной тройки – это Павел Первый:

*Величаемый вседневно, проклинаемый всенощно,
С гайдуком, со звоном, с гиком мчится в страшный Петербург,
По мостам, по льду речному мчится, немощный и мощный,
И трубит хмельной фельдъегерь в крутень пустозвонных пург.*

А в стихотворении о Николае Втором доминирует мелодия траурного марша, переданная мелодией стиха и даже прямо названная:

*Над роком, над рокотом траурных маршей,
Над конским затравленным скоком,
Когда ж это было, что призрак монарший
Расстрелян и в землю закопан?*

И кончается это трагическое стихотворение ассоциацией с «Лесным царем» Гёте – образом всадника, мчащегося неведомо куда с умирающим ребенком на руках:

*Зафыркала, искры по слякоти сея,
Храпит одичалая лошадь. –
Отец, мы доехали? Где мы? – В России.
Мы в землю зарыты, Алеша.*

У Павла Антокольского, пожалуй, легче, чем у любого другого из поэтов советского периода, отличить настоящие стихи от вымученных. Контраст превосходит все, что можно вообразить... И ремесленник, оглушенный «маршами энтузиастов», не заслоняет большого русского поэта. Страхнув с себя эту колдовскую паутину, в 1961 году Антокольский написал открытое письмо тогдашнему Министру культуры, протестуя против изъятия рукописей у Солженицына: «Если Солженицын не может сказать читателям своей правды, то

и я, старый писатель, лишен права открыто смотреть в глаза читателям».

Этот бунт личности против безликого «надо» был одним из последних у поэта. После этого он ещё раз громко и возмущённо выступил в защиту Иосифа Бродского...

В авторском предисловии к четырехтомнику 1971 года поэт писал:

«Как каждый, живущий в искусстве, я горячо верю, что кое-что из сделанного мною останется для этого загадочного будущего. Следует смиренно довериться его суду, который наступит, когда нас уже не будет».

И мы уже видим, что суд этот высказывается в пользу поэта.

Отсеяв всю шелуху, он оставляет за Павлом Антокольским то место, которого поэт достоин... «Каждому даётся по вере его...»

5. Певец звезды и свастики (Владимир Луговской)

Среди множества поэтов и непоэтов, начавших писать в двадцатых годах XX века, Владимир Луговской, безусловно, одна из самых ярких фигур. Но если проследить его поэтический путь, сразу видно, как шаг за шагом талант мельчает. А слова становятся все громче. Стоит сравнить строки 1926 года со строками пятидесятых годов! Вот стихотворение «Ушкуйники»:

*Та ночь началась нетерпеньем тягучим,
Тяжелым хрипением снега,
И месяц летал на клубящихся тучах,
И льды колотила Онега.
И, словно напившись прадедовской браги,
Накинувши ночь на плечи,
Сходились лесов вековые ватаги
На злое весеннее вече...*

Это 1926 год. А вот строки из книги «Середина века» – 1957 год:

*Трагически прекрасно было время
Гигантских строек, подвигов, трудов,
Подвижничества, юного героизма...*

Такой скуки и серости хватает в любой районной газетке.
Но ведь под этими длинными и мертвыми стихами стоит
имя того же самого В. Луговского!

А эту «Середину века» студенты Литинститута с умным видом изучали и в приказном порядке признавали даже классикой! А критики, хваля взалхлеб эти писания, снисходительно вспоминали раннего Луговского, который, по их словам, еще чего-то не понимал, чего-то не хотел, а главное – «увлекался усложнением стиха и экспериментами в области формы», что тогда вполне приравнивалось к антисоветскому поведению.

Это все писалось совершенно всерьез, и даже «Песня о ветре» – поэма вполне советская, поэма о гражданской войне, написанная с самых «красных» позиций, упоминалась как-то вскользь, – а все потому, что это была настоящая поэзия:

*Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.
Идёт эта песня, ногам помогая...*

Как же получилось, что поэт такого размаха и такой музыкальной пронзительности превратился в газетного болтуна и штамповщика? Километры никому не нужных стихов. И это – после таких строк (из той же поэмы):

*Паровоз начеку
Ругает вагоны.
Волокёт Колчаку
Тысячу погонов,
Он идёт впереди,*

*Атаман удалый,
У него на груди
Фонари-медали,
Командир-паровоз
Мучает одышка...
Впереди откос...
Паровозу крышка.*

*А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют...*

Потеря таланта в результате натужного сочинения заведомой лжи с карьерными целями – слишком простой случай. Для серого А. Прокофьева годится, а с Луговским было иначе. Он – один из немногих искренне писал, веря каждой своей строке. Потому-то и получилась у него «Песня о ветре» с ее полифонией, с ее ухарской частушкой, с ее гармошечной, но истинной напряженностью. Оставим в стороне идеи, взглянем на мастерство поэта:

*Но песня рычит, как биплан на Ходынке,
Но песня сошла с ума,
И даже на дряхлом Смоленском рынке
Ломает она дома!*

Это тоже из стихов двадцатых годов.

Но посмотрим, что же вдохновляло Луговского, что самое главное в самом духе его стихов, что придает им силу – ответ будет однозначный: ярость, злоба, неистовство ради неистовства – даже не всегда ради идеи... Политическое содержание уже потом вливалось в это весьма удобное вместилище. Вот стихи 26-го года, периода высшего расцвета поэзии Луговского:

*Дорога идет от широких мечей,
От сечи и плена Игорева,
От белых ночей (!?) малютинных палачей,
От этой тоски невыговоренной!*

Речь тут идет ни много ни мало о том, «откуда есть пошла Россия!». Поэт утверждает: от зла! И само Зло как идею делает поэт своим героем! А затем и преклонение перед злой силой. Перед любой – лишь бы она подавляла величием, масштабами зла. Они и были главным вдохновляющим фактором для Луговского. Отсюда и упоенное самоуничижение личности приравнивается к подвигу. И неподдельный восторг раба перед господином слышен в концовке вот таких стихов:

*И глухо стучащее сердце мое
С рожденья в рабы ей продано.*

Ей, то есть родине!

Преклонением перед этой свирепостью хочет Луговской заразить читателя, и часто ему это удается: так искренне, так талантливо звучат его строки, полные пафоса. Только с запозданием понимаешь, что пафос его – страшен и нечист... Ненависть, разрушение – вот чем кормится его талант:

*Багровый костер, скелет моста,
И осень – прямо на ощупь,
Но штык остер, винтовка проста,
А жизнь – во сто крат проще!*

А ведь и верно, если считать, что жизнь проще винтовки, что все вопросы решаются пулей, что лучший аргумент в споре – это удар по черепу, то остается лишь стать восторженным певцом и рабом Зла.

Вот откуда поэтизация всего, что считается враждебным духу человеческому! Где уж тут «разумное, доброе, вечное»! Но это эстетство навыворот, если отбросить всякие нравственные ценности, так оно с точки зрения поэзии казалось невероятно новым, смелым, захватывало своим напором:

*Ощерился лес, и гуляют кусты,
И ползает ветер на брюхе,*

*Пускаются в пляс по полянам пустым
Какие-то черные мухи...*

Отсюда шаг всего до нарбутовского упоения нечистью и смертью тоже нечистой...

Но когда миновали буйные времена, кормившие поэзию Луговского патетикой убийства и братоубийства, то тут же исчезла вся привлекательность его стихов, да и самый талант оказался не золотом, а черепками, как купальские клады... В 21 году пишет он «Утро республики».

*Честное слово, кругом весна,
Мозг работает, тело годно,
Шестнадцать часов для труда, восемь для сна,
Ночь свободных!*

Пафос есть, почвудля романтизации нет, вспоминается школьный учебник истории: «в Ассирии рабы трудились по двенадцать часов в сутки». Вот вам и весь пафос социализма по Луговскому! Переносить с войны на рутину экстремальность – задача бессмысленная. Поэтому в начале тридцатых годов Луговской растворяется в сером потоке газетных сочинителей, и только те, кто помнит «Песню о ветре» по инерции ещё называют его поэтом.

Но когда случается ему вырваться к темам вне будней – к пафосу разрушения и злобы – он снова поэт, хотя и страшный в своей бесчеловечности. В стихотворении под зловещим названием «Кухня времени» он воспеваает некую Хозяйку – символ людоедства!

*А что если ужин начнет багроветь
И злая Хозяйка скажет «Готово!»,
Растает зима от горячих кровей,
Весна заснежит миллионом листовок...
И выйдем Хозяйка полнеть и добреть,
Сливая народам в манерки и блюда
Матросский наварный борщик октябрей,
Крутой кипяток мировых революций!*

Написано мастерски, а если забыть, что людоедство тут и есть предмет романтических восторгов – так и вовсе здорово! Всё, что скрывали демагоги партии за условными фразами лозунгов, поэт назвал по имени! Чего стоит одна только концовка этого каннибальского гимна, в котором коммунизм и нацизм – обе крайние разновидности социализма – ставятся в один ряд и одинаково прославляются! Справедливо, ведь оба они называют себя орудиями для разрушения старого мира и инструментами создания нового порядка.

*Мы в дикую стужу в разгромленной мгле
Стоим на летящей куда-то земле,
Философ, солдат и калека.
Над нами восходит кровавой звездой,
И свастикой черной, и ночью седой
Средина двадцатого века!*

Написано пером – не вырубешь топором!

Восходящая свастика не противоречила кровавой звезде, ведь читали все мы рассказ Риббентропа о том, что он в Кремле «чувствовал себя как среди старых партийных товарищей» (так и написано у него *parteiengenossen*).

...Но если в «Песне о ветре» было что-то кроме пафоса разрушения, то в «Кухне времени» – только ярость ради ярости. Ну а когда этот свой ветровой настрой поэт обращает на трудовой энтузиазм все тех же зловещих тридцатых годов, то остается от всей романтики только его искреннее желание быть рабом и даже попросту стать «винтиком-шпунтиком» сталинской индустриализации.

Мастерство ранних стихов кажется уже ему чем-то недостойным эпохи, и он просится в переплавку, как китаец шестидесятых годов:

*Наполни приказом мозг мой,
И ветром набей мне рот,*

*Возьми меня в переделку,
И двинь, грохоча, вперед!*

Самое страшное, что при всей кажущейся пародийности, эти стишки не пародия, не стёб, это ведь написано всерьёз!

Что-то похожее на культуру подозрительно, интеллигента надо перековывать! Так, есть у него длинное стихотворение о том, как неграмотный сын сельского узбекского бедняка старается разоблачить подозрительного учёного... А Луговской в этом и ищет свою романтику. Ну и находит ее в колониальной тематике. Неуклюже и понаслышке подражая Киплингу, он убеждает читателя и себя, что «Большевики пустыни и весны» освобождают узбеков, туркмен и прочих людей Советского Востока. От чего – неясно, но освобождают. «Мы несем цивилизацию в дикую пустыню, поскольку мы – в социализме, а они – в феодализме, ну а культуру феодализма надо ломать, это наша священная миссия».

Таково схематически содержание книги «Большевикам пустыни и весны».

Это примерно содержание половины его поэзии, если избавить ее от рифм и прочего, что Луговскому теперь явно необязательно... Он, безусловно, искренен в этом своем пафосе, и когда оказывается, что никаких садов в пустыне так и не насадили, поэт, спасая свою веру, обращается к голому, крикливо-одическому тону, и сочиняет гимны уже не грозному людоедству, а обычной бюрократии. Это уже в первые послевоенные годы.

Кстати, стихов о Второй мировой войне у Луговского почти нет. А о 48-м, одном из самых страшных в советской истории, – пожалуйста:

*На столах обычные предметы,
Трели телефонного звонка,
Буду говорить о беззаветных,
Рядовых работниках ЦК.
Машинистки, телефоны, папки,
Желтые, как азиатский зной.....*

Даже в самой рассоветской поэзии воспевание бюрократа встречается не так уж часто! Верит ли Луговской в те фразы, которыми он славит чиновника, лицо в русской литературе традиционно малоуважаемое? Верит! Оды чиновнику, то есть начальству, вытекают логически из поэтического упоения ролью винтика! Но как надо поглупеть, чтобы этим ещё и гордиться! И когда в 1951 году в последней книге стихов, названной поэмой, в книге «Середина века» Луговской радуется, что

*У нас дорога в коммунизм
в снегах, в крови легла –*

то удивления это не вызывает. Только показывает, что, даже не став циником, Луговской все же утратил талант, ибо воспевание злобы как поэтический лейтмотив – бесплодно. А уж прославление чиновничества... И особенно удивительно, что некогда написал он, ну вовсе на него не похожее, единственное непохожее стихотворение «Медведь».

Привожу его тут (от удивления) полностью.

МЕДВЕДЬ

*Девочке медведя подарили.
Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью,
Важный зверь с полночной душой.*

*Девочка с медведем говорила,
Отвела для гостя новый стул,
В десять спать с собою уложила,
А в одиннадцать весь дом уснул.*

*Но в двенадцать, видя свет фонарный,
Зверь пошел по лезвию луча,
Очень тихий, очень благодарный,
Ножками тупыми топоча.*

Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть.
Поводя стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь.

И тогда ему промолвил слово
Облетевший многодумный бук:
«Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг?».

«Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах.
Новый год справляет новоселье,
Чатыр-Даг в снегу и облаках».

«Не ходи, тебя руками сшили
Из людских одежд, людской иглой,
Медведей охотники убили,
Возвращайся, маленький, домой.

Кто твою хозяйку приголубит?
Мать встречает где-то Новый год,
Домработница танцует в клубе,
А отца – собака не найдет.

Ты лежи, медведь, лежи в постели,
Лапами не двигай до зари.
И, щеки касаясь еле-еле,
Сказки медвежачьи говори.

Путь далек, а снег глубок и вязок,
Сны прижались к ставням и дверям,
Потому что без полночных сказок
Нет житья ни людям, ни зверям».

В 1939-м (!) написано почти одновременно с тем, фашистским стихом, который выше цитируется...

Бродяга окаянный (Сергей Марков)

Прежде всего прошу не путать поэта и крупного русского географа Сергея Николаевича Маркова с двумя истинно советскими недопоэтами – его однофамильцами...

Как известно, большинство поэтов рано или поздно переходят на прозу. А вот знаменитый географ Сергей Марков – наоборот, первые стихи опубликовал тогда, когда его известность как учёного и писателя была уже немалой: семь книг по истории географических открытий и роман «Юконский ворон», прославивший автора среди молодежи...

К началу публикации стихов за спиной Маркова было уже многое: и жизнеописание полярного исследователя Бегтчева, и уже упомянутый тут роман «Юконский ворон» о странной любви и приключениях первопроходцев на Аляске в начале XIX столетия, и ещё фундаментальный труд по истории картографии... Муза дальних странствий переселилась в стихи из его науки и прозы. Поэт Марков на целое поколение младше самого себя.

Первые его публикации появились в предвоенные годы, рядом с теми молодыми поэтами, кто тогда только начинал, как К. Симонов, к примеру...

Сравним стихи 1924 года и стихи сороковых. Они почти неразличимы меж собой. Какое раннее? Какое более позднее? Без даты не понять. Поэт не менялся – вот его странная особенность:

*О чём звенит камышный ворох?
Где, как скопившаяся боль,
Сочится в стынущих озёрах
Слезами мраморная соль?*

А вот строки из его стихотворения «Землепроходцы» 1947 года:

*Просторы открывались, как во сне,
От стужи камни дикие трещали,*

*В Даурской и Мунгальской стороне
Гревели раскалённые пищали.*

И если у других поэтов экзотический мир существует для того, чтобы в него вломиться «со своим уставом», то Марков не вламывается, он сливается с жизнью и культурой, вроде бы чуждыми европейцу. В этом он противоположен и Тихонову, и Луговскому, решавшим «колониальную тему» с «позиции силы». А у Маркова вот как:

*Мерзлые юрты не знают мести,
Буря за дверью – взятый уступ.
Тут мы оставим на кружечной жести
Тонкую кожу спаленных губ...
Кровью зеленой наполним жилы,
Вспомним буранные пустыри,
С теми, кто здесь любили и жили,
Мы просидим у огня до зары...*

Вместо колониального пафоса – понимание. И удаётся оно потому, что для поэта любая национальная культура существует, чтобы понять ее, а не покорять, войти в неё бережно и не наследить... Это бережное отношение к чужому миру продиктовано именно тем, что Марков – один из самых глубоко национальных поэтов.

*Что же я – в почете иль в награде?
Я рожден в неведомом посаде,
Где сосна да заячья тропа,
Где деревья в инее томилась,
Проруби крещенские дымилась,
Где судьба на радости скупа...*

Это лирическое утверждение безвестности – не литературное кокетство. Действительно, декларировавшие агрессивно свое сугубо национальное нечто, стихотворцы из «Молодой Гвардии» или из «Нашего Современника» на самом деле рас-

теряли всю национальную сущность в своих писаниях, щедро уснащённых берёзами да диалектными словечками... В поэзии Сергея Маркова тонкое чувство языка ведет за собой образный строй стиха. Лучшая его поэма даже названия не имеет, да и размер ее – около семидесяти строк всего, но неподдельно русского в ней больше, чем в целой книге иного упрямого В. Цыбина или крикливого Е. Исаева... А начинается все с того, что поэт вслушивается в названия старинных городов, и сами имена их диктуют строку, зримую, живописную:

*Знаю я, малиновую ранью
Лебеди летят над Лебедянью,
А в Медыни золотится мед,
Не скопа ли кружится в Скопине?
А в Серпейске ржавой смерти ждет
Серп горбатый в дедовском овине.*

*Наливные яблоки висят
В палисадах тихой Обояни,
Город спит, но в утреннем сиянье
Чей-нибудь благоухает сад...
И туман рябиновый во сне
Зыблется, дороги окружая,
Горечь можжевельная мне
Жжет глаза в заброшенном Можгае,
На Заре Звенигород звенит...*

И так же медлительно, незаметно возникает из этого множества тихих городков тихий, поначалу почти бесплотный облик женщины. И сам поэт не знает, кто она и откуда... Она – всюду. В этом стихе слышится блоковский мотив – ведь эта женщина, которая повсюду, явно олицетворяет Россию.

*Белое окошко отвори -
От тебя, от ветра, от зари
Вздоргнут ветви яблони тяжелой,
И росой омытые плоды*

*В грудь толкнут, чтоб засмеялась ты
И цвела у солнечной черты
Босоногой, теплой и веселой.*

И кругами идут строки, и возвращают нас к плывущим образам сел и городков Севера или Поволжья... Её образ – вне времён. Как и вся поэма, занимающая в творчестве Сергея Маркова такое же ключевое место, как у Блока «На поле Куликовом» или у Гумилева «Капитаны». И мотив этот не раз всплывает и в иных стихах Маркова:

*Рябинин-город! Явь иль сон,
И смех, и волосы что лён,
И рассудительные речи,
В светлице – шитые холсты,
И вздохи тёплой темноты,
И в полотне прохладном плечи...*

Вневременность лучших вещей Маркова сочетается с бесконечным разнообразием пейзажей и пространств... Поэма «Радуга-Река» – монолог бродяги, человека, которому «всегда больше всех надо». Но, схватив мечту руками, он разочарован – пока новая сказка снова не сорвет его с насиженных мест. Когда, в каком веке – неважно. Важно, где шляется он, – бродяга, сказочник, скоморох, первооткрыватель, землепроходец, получающий за свои подвиги только плетью дьяка по спине... Вот вместо легендарной Радуги-реки находит он просто «малый ручеек»:

*Бредил в лихорадке и дыму
В хижине у Радуги обманной,
И пошел, бродяга окаянный,
По весне в родную Кострому...*

Но с новой весной опять уходит он – на этот раз поглядеть на золоторогих оленей да кита, на котором поморские женки хороводы водят... И опять ни с чем возвращается:

*Возопил я, глядя в облака:
 Все обманно: Радуга-Река,
 Рыба-Кит, олень золоторогий...
 Оборвалась сказка, словно нить,
 Как на свете без мечтанья жить
 Буду я, смиренный и убогий?!*

Но стоит ему услышать еще про какие-то чудеса – и он снова готов в путь... Вот и сам поэт – вечно в погоне за недостижимым. И, как его «бродяга окаянный», сам поэт и неведом, и безвестен, но рассказывает нам, что:

*На востоке дикий хмель,
 Хвойный сон, жемчужный град.
 Там лазурная форель
 Заплывает в водопад...*

Но вот что удивительно – это истинная его безвестность, несмотря на десяток, а то и больше поэтических, вовсе не тоненьких, книжек... Но кроме кратких предисловий к его книгам, не видел я ни разу не то чтобы монографии, а даже серьезной статьи о творчестве Сергея Маркова.

Так вот все критики и молчали о нем долго-долго... Только после смерти поэта «Литературка» что-то невнятное опубликовала, похвалила...

И смолкло всё снова...

Часть вторая. Пропавшее поколение

Так ли уж гордо звучит «человек»?

Юрий Одарченко

Дранг нах Вестен (Михаил Светлов)

Ещё оставалось примерно лет 10 до прихода к власти в Германии Гитлера, и лет 13 до его известного лозунга «Дранг нах Остен», а советские (в основном комсомольские) поэты, – и прежде

всего такой милый и добрый человек, как Михаил Светлов (которому до написания песни «Каховка» тоже оставалось лет 10), – одной из главных тем своих стихов сделали «Дранг нах Вестен»...

Вот вам рассказ о поэтической лжи, но не о ремесленной, обычной, какая бывала в «Литературной России», а о лжи вдохновенной, талантливой, и главное – искреннейшей, о такой, какой история поэзии еще не знала. Это рассказ о самогипнозе, который приводит порой восторженную личность к преступному оправданию и восхвалению преступлений в международном масштабе. Короче – о поэзии Михаила Светлова.

Попробуем судить о его творчестве хоть с точки зрения обыкновенной человечности, хоть с точки зрения международного права, или, наконец, с точки зрения того полузабытого у нас понятия, которое именовалось когда-то честью.

Если отбросить людоедскую демагогию, утверждающую, что нравственность есть понятие классовое, не считать нравственность перчаткой, то как согласиться с пафосом вот этих строк:

*Пей, товарищ Орлов, председатель ЧК,
Пусть наммурилось небо, тревогу тая.
Эти звезды (!) разбиты ударом штыка,
Эта ночь беспощадна, как подпись твоя!
Пей, товарищ Орлов, пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони отчаянных дней!
Приговор прозвучал, мандолина поёт,
И труба, как палач (!), наклонилась над ней!*

Я вставил тут свои восклицательные знаки – и зря: ведь надо бы их ставить после каждого слова! Тем более что Владимир Маяковский Светлову позвонил, услышав эти стихи, и всячески их расхваливал.

Интересно, что и поныне на Западе гадают – какие именно круги в советских верхах были пружиной экспансии... Не гадать надо, а советских поэтов читать! Они всё-всё выбалтывают! Все государственные – особенно идеологические – тайны!

У Светлова же главное то, что впервые в русской поэзии в его стихах восхваляется палач! И не тот, оперный, в кумачо-

вой рубахе, а этот – под кумачовым знаменем! (Вот вам и «милость к падшим призывал», но – по-советски...)

Кто-нибудь попыбует оправдывать Светлова тем, что не читал же он в двадцатых годах «ГУЛАГ», только не оправдание это. Во все времена находились порядочные люди, не закрывавшие глаза на уничтожение целых классов общества или целых наций...

Вторая излюбленная тема Светлова – впрочем, она уже и в этих строках мелькнула – это призыв к агрессии против Европы, оголтелая пропаганда войны. Кстати, официально в СССР запрещённая. В этой теме Светлов несколько впереди паровоза, куда больший экстремист, чем средние пропагандисты даже того очумелого времени. Они уже твердили стыдливо-оборонческие речи вроде «нас не трогай, и мы не тронем», а поэт в подаче этой темы оставался ближе к циничным и откровенным формулировкам Геббельса, чем к лицемерной сталинской фразеологии:

*Крепчает обида, растёт и внезапно
Советские трубы затрубят на Запад.
Советские пули дождутся полета!
Товарищ начальник, откройте ворота!*

Это 1927 год. А вот что он написал годом позднее:

*Мы десять лет надеемся и терпим,
Пока под взрывы пушечных зарниц
Проскачет эскадрон нетерпеливым темпом
Через барьер разрушенных границ.*

И дождался-таки Светлов! Тринадцать лет еще ждал. А потом не всё, правда, так вышло, как ему виделось, но ведь поэт-то – не пророк! Не пушкинские всё же времена! Советский ведь поэт! А впрочем, и не тринадцать лет – меньше, ведь при разделе Польши с Гитлером светловские эскадроны и скакали «через барьер разрушенных границ»! А пару дней спустя Молотов на сессии Верховного Совета сказал: «Польша – этот ублодок Версальского договора – исчезла с карты Европы, и,

надо надеяться, – навсегда!» Сказано не хуже, чем у Светлова, хотя и не в рифму...

Основное, как все помнят, горьковское требование к соцреализму – «показывать жизнь не такой, как она есть, а такой, какой она должна быть», то есть выдавать желаемое за действительное. Светлов осуществил это в стихах даже раньше, чем Горький выдумал!

*И вожди, простые, как друзья,
руки мне на плечи положили.*

Упивается человек!..

Когда он пишет, что «эта девушка из Ленинграда первой в цехе снижает брак», то едва ли стоит обращать внимание на такие строчки. Это не поэзия вовсе.

Но вот когда сочинял он «Гренаду», то оставался все же поэтом, хотя и освящал самое гнусное дело в истории – навязывание другим силой оружия своих порядков и даже взглядов. Ведь вся идея этого знаменитого стихотворения («Я землю оставил, пошёл воевать, Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать») может быть кратко и точно пересказана фразой из фильма «Айболит 66»: «Я вас всех счастливыми сделаю, а кто не захочет...» Жалость к погибшему «мечтателю-хохлу» читателя не убеждает – ведь кому-то и Бармалея жалко... А «мечтатель», который «Гренаду в книжке нашел», готов скакать туда и загонять испанцев в колхозы, не спросив у этих самых крестьян, хотят ли они, чтобы к ним явился некий шолоховский Давыдов и, разыскав среди них всяких павликов морозовых, поощрял доносы в мировом масштабе...

Парадокс Светлова в том, что он талантлив. Наивно ему приписывать было бы психологию Сальери или психологию его сверстников, вроде халтурщиков Жарова или Безыменского. (Хотя девять десятых стихов у Светлова так же бездарны, как у них, но...) Романтика комсомольцев двадцатых годов само слово гуманизм объявила «буржуазным понятием» и употребляла как бранное. Вот почему обыкновенный фашизм, отличающийся от советской лицемерной идеологии только куда большей от-

кровенностью, и есть суть поэзии Светлова. Он в поэзии – как в политике Троцкий: там, где Ленин, а потом и Сталин лицемерили, он выбалтывает истинные цели самыми прямыми словами.

Но как объяснить появление Светлова в литературе? Случайностью? Ну нет! Светлов близок к искреннему пафосу куда более талантливого, чем он, поэта – к пафосу Эдуарда Багрицкого, сказавшему о своём веке:

*... Если он скажет «солги» – солги,
Если он скажет «убей» – убей!*

«Была бы только санкция, романтики сестра!» – так поздней сформулировал идеи своего учителя в поэзии А. Галич. «Романтики сестра!» или ещё куда раньше прозвучавшее раскрытие подобного лицемерия:

*Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран,
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман.*
(А. Блок)

Вот Светлов и есть – одна из этих марионеток... Галич в другой песне говорит:

*Спрашивайте, мальчики, отцов.
Сколько бы не резать ветчину,
Надо отвечать в конце концов!*

Но Светлов не спрашивал – ему всё было ясно. Даже Маяковского не спросил – а тот ведь говорил: «Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп!».

Ну что стоит, кстати, закон о запрещении пропагандировать войну, если по радио тут же призывают светловы «поспешней поскорей грамматику боя, язык батарей!», как сказано в той же «Гренаде»... И только в тридцатых годах слегка обучился поэт лицемерить в ногу со временем.

В известной песне «Каховка» он, хвастая как всегда всякими прежними походами, всё же замечает:

*Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути.*

И то хлеб!

Корень зла (Юрий Одарченко, 1903 Москва – 1960 Париж)

Когда говорят о Юрии Одарченко – невольная ассоциация: Шарль Бодлер или – вообще – «проклятые поэты». Юрий Одарченко, начавший писать уже в эмиграции, да и то не в ранней молодости, был изгоем в среде «русского Монпарнаса» как в предвоенные годы, когда он уже писал, но сторонился всех литературных кругов, так и в послевоенное время, когда среди еще живых и никому не нужных поэтов «парижской ноты», группировавшихся по-прежнему вокруг Г. Адамовича, «называть саму фамилию Одарченко было как-то страшновато и неприлично». По свидетельству Ю. Терапиано, в тридцатых годах Юрий Одарченко категорически отказывался даже участвовать в каких бы то ни было поэтических объединениях и не захотел ни с кем знакомиться.

Но после войны какие-то знакомства все же состоялись, поскольку в альманахе «Орион», изданном Юрием Одарченко вместе с братом (единственный выпуск вышел в феврале 1947 года), участвовали И. Бунин, Б. Зайцев, А. Ремизов и даже несговорчивый Георгий Иванов. Редакторы альманаха – Ю. Одарченко, В. Смоленский и А. Шайкевич.

В те же годы начинает Одарченко публиковать свои стихи в журналах. В 1949 году выходит его первая и единственная книга стихов «Денек». Одни постарались ее не заметить, другие были скандализированы. На книжку появились только две рецензии – Г. Иванова и Ю. Иваска. Почти все эмигрантские издания постарались эту книжку проигнорировать...

Только в 1983 году в Париже впервые вышло «полное» собрание сочинений Юрия Одарченко. При помощи профессора Рене Герра, коллекционера и большого знатока русской

литературы в эмиграции, мне удалось собрать все, что было когда-либо опубликовано, рассеяно по забытым журналам. И я составил наконец его полное собрание сочинений. Это даже не том – а сравнительно небольшая книга...

К найденному в коллекции Рене Герра добавилось ещё несколько стихотворений, никогда не публиковавшихся, рукописи которых хранились сотрудником «Русской мысли» К.Д. Померанцевым, много лет дружившим с Одарченко.

Так что же общего у Одарченко с Бодлером? Не столько сходство фактов биографических, сколько сама суть поэзии этого типа – грустная беспощадность и ядовитая доброта...

Бодлер назвал свою книгу «Цветы зла». Если у цветов предполагается наличие корней, то после Бодлера стало необходимым добраться и до них. Обнаружить, выставить на всеобщее обозрение, заставить каждого человека искать их в себе... Но как? Лирик имеет только единственную возможность: обнажить свои собственные «корни зла» и тем заставить других взглянуть в самих себя. Едва ли Одарченко сознательно ставил такую задачу, но он ее выполнил.

В русской литературе «цветами зла» была проза Н.В. Гоголя, после неё, не удовольствовавшись цветами, неминуемо должна была появиться иная проза – проза Достоевского, обнажавшего корень зла, то, что Достоевский называл «подпольем».

Вот так же, если следовать этой небесспорной аналогии, должен был бы появиться поэт, копающийся в себе, беспощадно распахивая ребра, и идущий на психологическое самоуничтожение, открывая подполье своей души, заставляя каждого из нас заглядывать в себя и ужасаться в той степени, в какой это доступно каждому.

«Денек» – какое идиллическое название книжки стихов! Какая безоблачность, какие солнечные ассоциации! Но стоит раскрыть книжку и:

*Я расставляю слова
В наилучшем и строгом порядке.
Это будут слова,
От которых бегут без оглядки.*

То, от чего все тайно отмахиваются, делая вид, что этого не бывает, что в душе, может, и потемки, но увидеть, что в них

прячется, мы ой как не хотим! Одарченко все называет по имени, вот и бегут без оглядки от его стихов...

Как говорил Гоголь, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

В данном случае это звучит буквально – мы все слегка боимся встречи с самими собой. Одарченко это ощущение превратил в конкретный, реальный страх – вплоть до того, что брился без зеркала! Лишь бы не встретиться с собой. Лицом к лицу – значит увидеть свое подполье!

Поэтому никак нельзя ни иронию, ни злые строки поэта, даже те, что кажутся смешными, отнести к области сатиры. Сатира – ничто перед ужасом простого раскрытия своих глубин. Мы не хотим знать себя: одни – чтобы спокойнее жить, другие – чтобы сразу не умереть от ужаса, назвав словами содержимое своего подполья.

Обостренное ощущение вселенской пошлости у Одарченко глубже и точнее, чем у его ровесников – обериутов, о которых поэт, кстати, и слыхом не слыхал. Сам же он именно обериут. Скажем это без малейшей натяжки!

Когда он приоткрывал свою изнанку, кто-то возмущался, кто-то смеялся, словно к нему это не относится. Но Одарченко не позволяет смеяться. Слова, от которых бегут без оглядки, сковывают и не дают убежать.

Вот начало стихотворения, от которого, как и от названия книги, ждешь чего-то светлого и идиллического:

*Мальчик катит по дорожке
Легкое серсо.
В беленьких чулочках ножки,
Легкое серсо.*

Сами по себе уменьшительные суффиксы (из 12 слов в строфе 5 имеют эти суффиксы, а остальные слова – предлоги да повтор) назойливы так, что уже чуть настораживают своей «густотой» – такая сюсюкающая идиллия – не к добру? Вторая строфа – пейзаж, причем тавтология вместо рифмы, как и в первой строфе, то есть ожидаемость слова абсолютная, далеко, переходящая границы банальности:

*Солнце сквозь листву густую
Золотит песок,
И бросает тень густую
Кто-то на песок.*

Предельная детскость звучания, и появляется у читателя благосклонная улыбка, и спокойно он читает далее:

*Мальчик смотрит, улыбаясь:
Ворон на суку.
А под ним висит, качаясь,
Кто-то на суку.*

Вот и все оно – это стихотворение. Вспоминаются сюрреалистические шуточки в живописи Магрида – от них тоже «бегут без оглядки».

Или:

*В аптеке продаётся вата,
Пенициллин и аспирин.
В аптеку входит бесноватый
И покупает апельсин.*

Заметим, не просит, а реально покупает!

Зловещие строки, заабсурдный гоголевский ужас, и в меру ханжества своего каждый ловит себя на порыве – заклеить автора, породившего (разбудившего в нас?) этих чудовищ! Вот почему благопристойно-элегичные пииты «парижской ноты» так возмущались стихами Одарченко, и Г. Адамович отнесся к ним почти как Жданов к рассказам Зощенко. (Трогательное единодушие – не только совпадение во времени!) «И всяк решил», что нет для этого поэта ничего святого.

Попробуем пройти через пресловутое «подполье» – а не найдется ли под ним, еще глубже, потайной этаж? Вот одна сюрреалистическая картинка: слоник идет по канату над океаном, «продолжая свой путь невозможный». Ну а раз этакий факт противоречит всем законам – физическим, литератур-

ным, божеским и человеческим – то наведем-ка порядок сами, по-своему, ведь мы то знаем, «как надо»! Значит:

*... подрежем канат.
Обманув справедливого Бога:
Бог почил, и архангелы спят.
«Ах, мой слоник!» Туда и дорога!
Все на небе так сладостно спит,
А за слоника кто же осудит?*

И вдруг – (ужас встречи с собой возникает, как труба, зовущая на Страшный суд):

*Только сердце твердит и твердит,
Что второе пришествие будет!*

Одарченко словно рисует трехслойную схему человеческой психологии: в глубинах глубин – совесть, духовность, добро... Над ними толстенный слой мерзостей. Это и есть подполье. А сверху – тонкая кора благопристойности, приличия, короче всего, что отблескивает по сути лицемерием, которое мы и тщимся выдать за свою сущность.

Скрывая свое подполье от других, и, что еще хуже, – от самих себя, мы делаем уж вовсе недоступными те глубины, где сохраняется истинно человеческое...

Одарченко же видит себя без верхнего слоя. Без лакированной коры. И вот беспощадно о себе и обо всех:

*Стоит на улице бедняк,
И это очень стыдно.
Я подаю ему пятак,
И это тоже стыдно.*

Вот реальное действие, а что же в мыслях? В подполье? На самом деле? Далее события принимают вовсе нереальный вид, но описанные действия, если считать, что они происходят в воображении, выдают, раздевают, вытаскивают на свет то, что в этом подполье происходит:

*Я плюнул в шапку бедняку,
А денежки растратил,
Ужасно стыдно бедняку,
А мне с какой же стати?*

Поэт напоминает: внешне мы поступаем так, как в первой строфе, а внутренне – в подполье своем – так, как во второй строфе. И если это – наш истинный образ, то ясен горький вопрос в другом стихотворении Одарченко: «Так ли уж гордо звучит «человек?»»

Роковое чувство обреченности всего сущего одних толкает на растрату совести (хоть день, да мой!), создавая из них вежливых благопристойных циников, а других заставляет искать выход из безвыходности, метаться между бунтарством и молитвой.

Одарченко – это мир, увиденный столь беспощадно, мир, где слоника можно убить безнаказанно... И мечется поэт между надеждой на конечную справедливость абсолютного (второе пришествие?) и жестокой безнадежностью, выраженной в интонациях разъедающей иронии:

*В сырой земле так много мест,
И это так прекрасно...*

А может – не ирония? Ведь поэт-то покончил с собой!

Чувство безнадежности выражено у него с предельной остротой. И если Ходасевич эту безнадежность рационально доводил до логического конца спокойно, холодновато, то темперамент Одарченко кидает его в гротески. Кажется – вся его поэзия стала откликом на слова Мефистофеля:

*Я рад бы к чёрту провалиться,
Когда бы сам я не был чёрт!*

Одарченко чёртом не был, да и за ангела себя выдавать не хотел.

Но в самоуничтожительном поэтическом акте он назвал чёрта по имени, и тем хоть чуточку обезопасил.



ВОЛНА

И

КАМЕНЬ

ВЕРНИСАЖ



Алексей КУЗНЕЦОВ

Штуттгарт











Валерий ГОЛЬШЕЙДЕР
Вунперталь







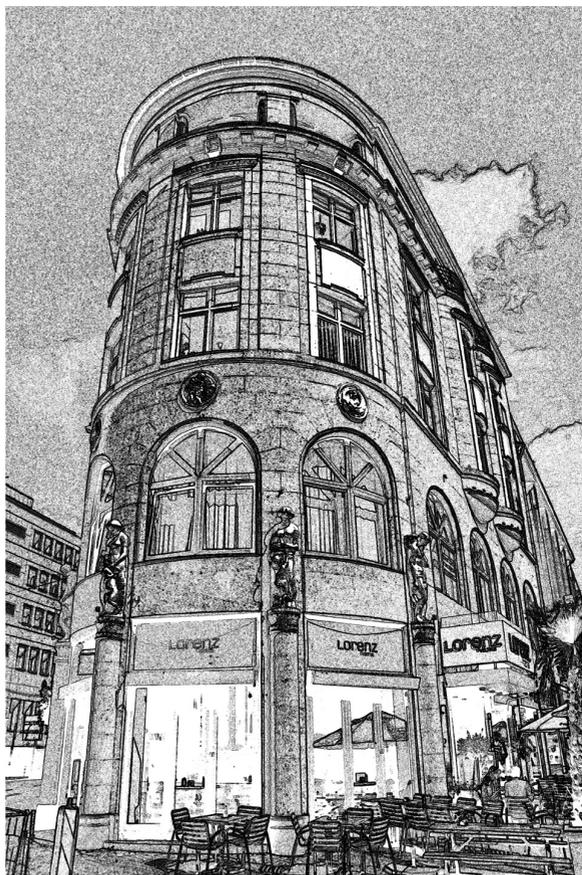




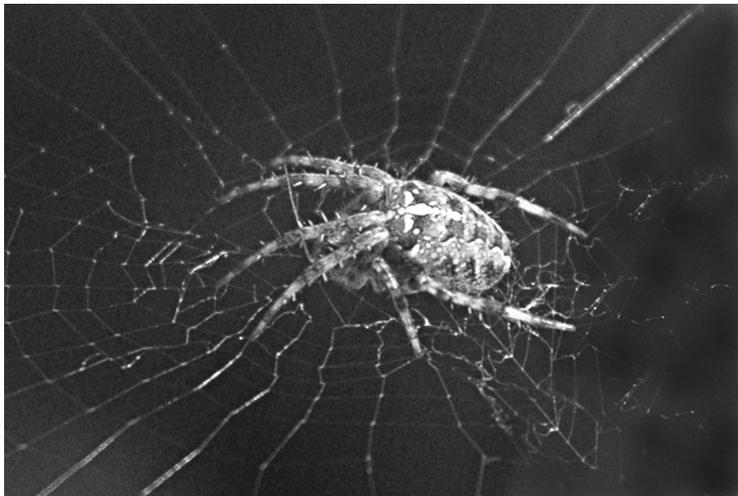


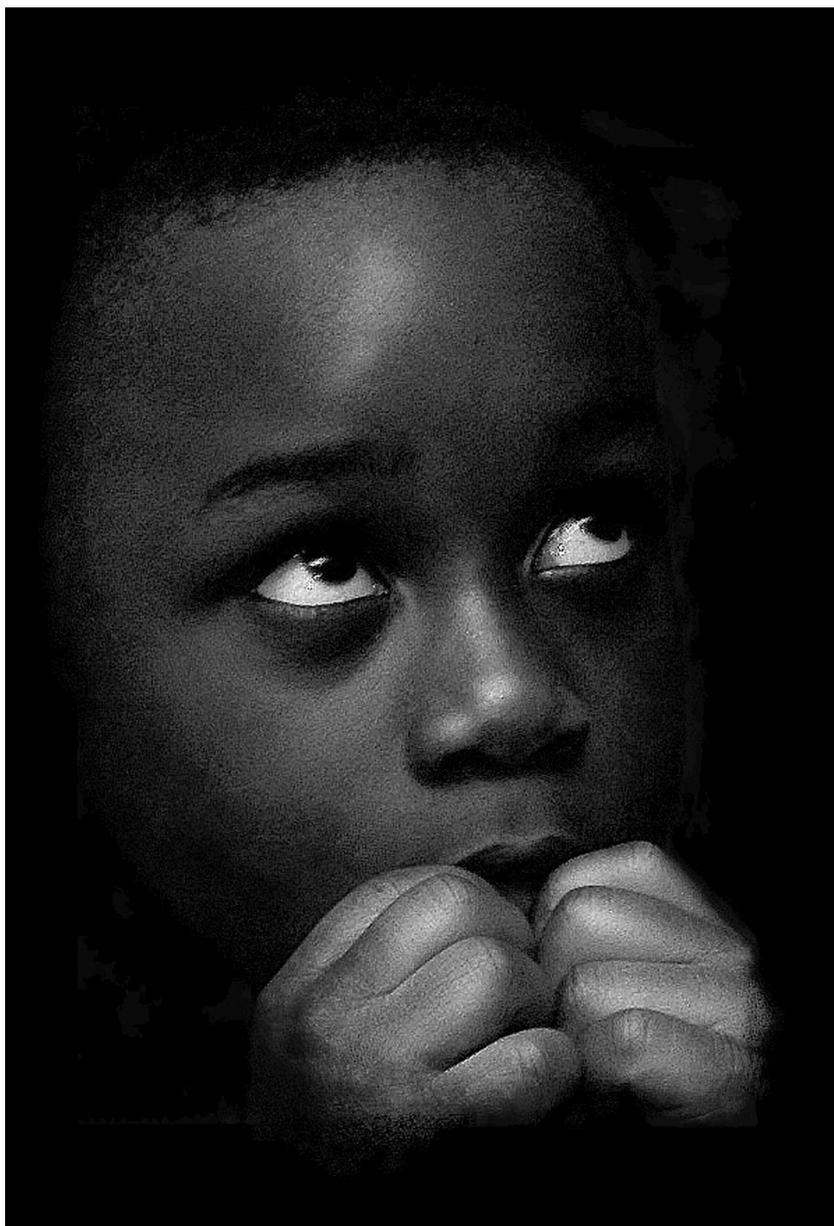












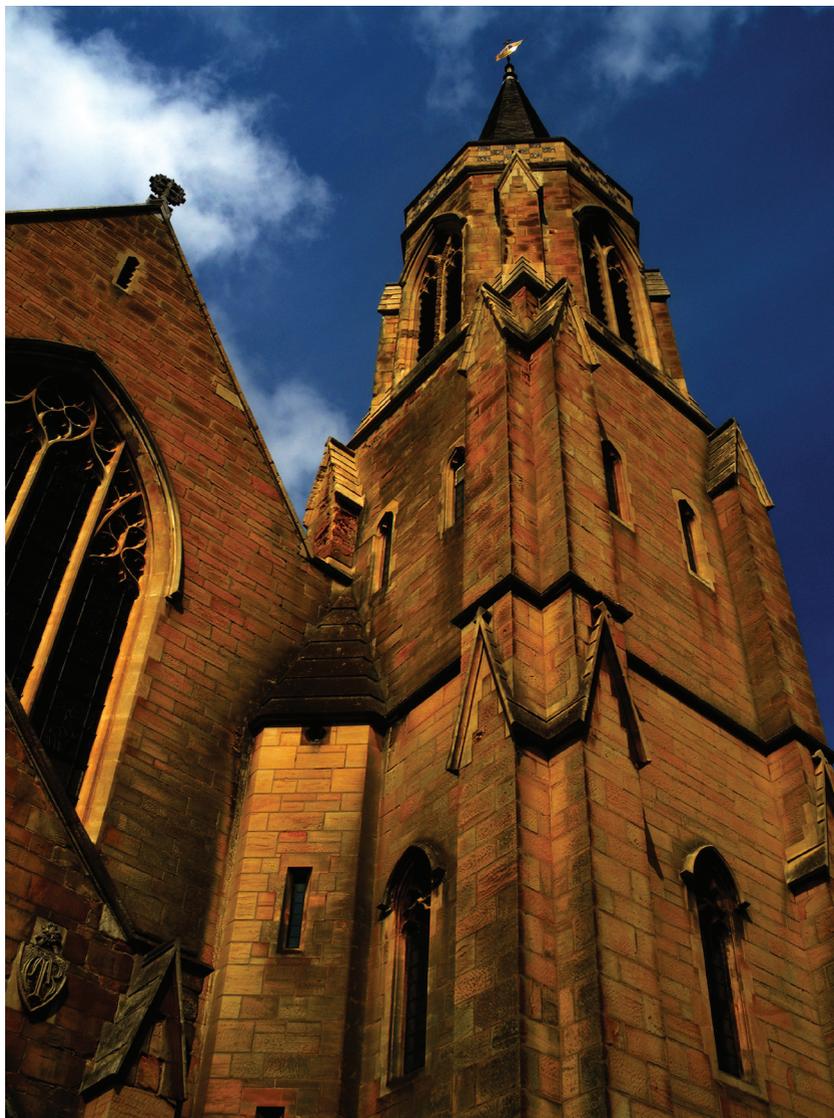


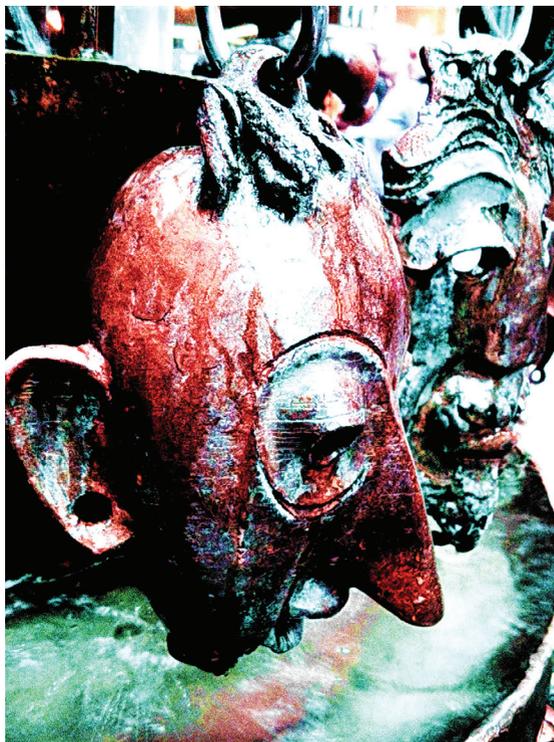


Борислава АВЦЕН, 15 лет
Вунперталь
ПЕРВЫЕ ПРОБЫ



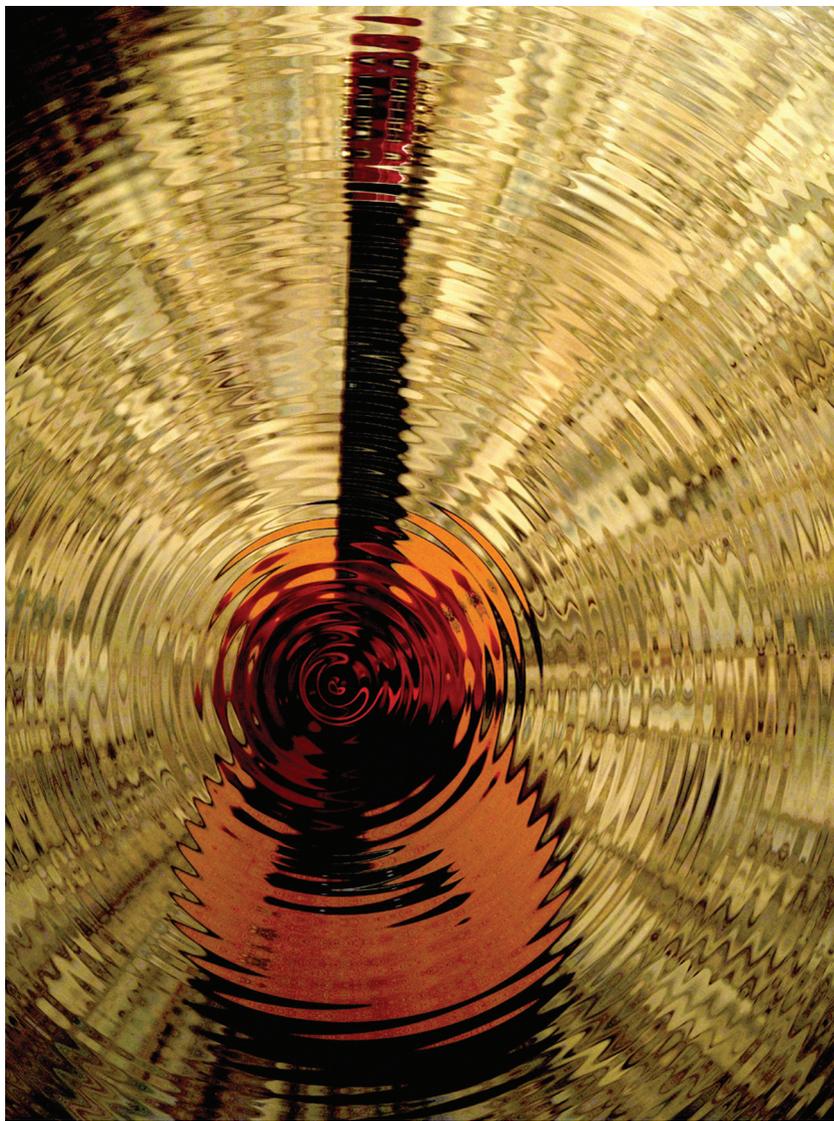






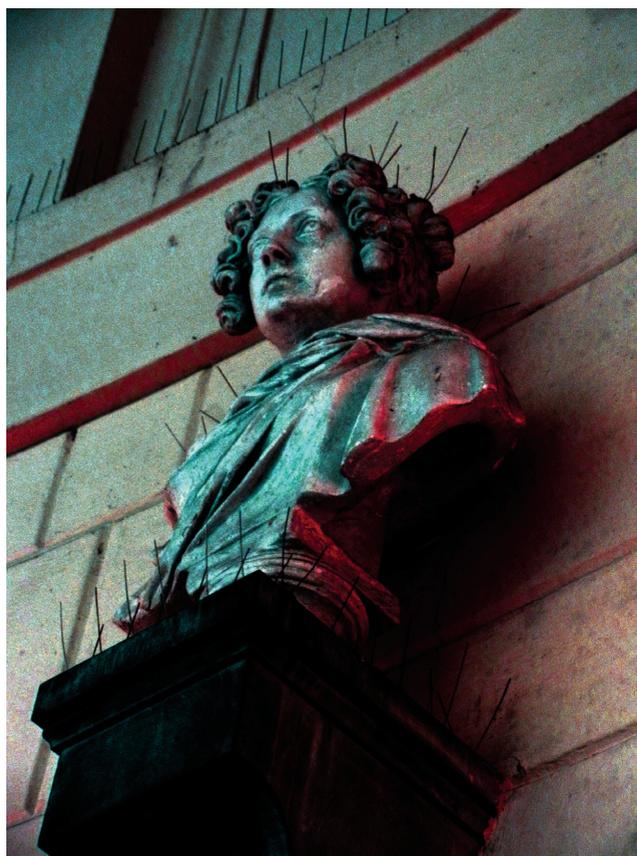




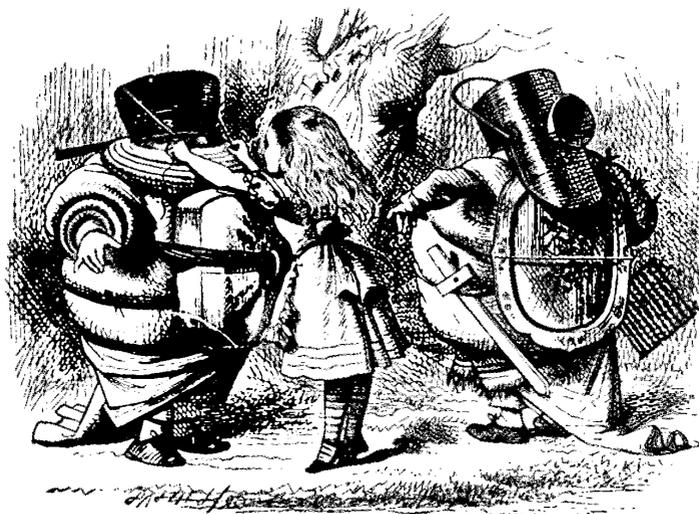








*Они
сошлись*



Садим ЛЕВИН
Марбург

Встреча

– Здравствуйте, листочки!
Откуда вы?
– Из почки.
– А я – из дома
в детский сад,
И я вам очень-очень рад!

Обиженный Ёжик

– Никакой я не колючий.
Ты узнай меня получше! –
Это колются иголки,
а под ними я не колкий!

Почему молчит корова?

Я кричу: «Привет, корова!»
А она в ответ ни слова.
У коровы занят рот –
целый день она жуёт.
Ей, корове,
молоко
достаётся нелегко.

Кошачья вежливость

Кошачья вежливость не в том,
Чтоб не поспориться с котом.
А в том, чтобы, увлекшись дракой,
Не обозвать кота собакой.

Неаппетитная песенка

С утра пораньше в воскресенье
уселась Муха есть варенье.
 Но вдруг
 Паук
 как прибежит! –
Испортил Мухе настроенье
и перебил ей аппетит.

Обучиться бы птичьему посвисту

Обучиться бы птичьему посвисту,
Обучиться лесным языкам –
Может быть, я пришёлся бы по сердцу
Любопытным и робким зверькам...

Перевёл бы я книжки свои
Для улитки, лягушки, змеи.
Кукушонку из грустных «ку-ку»
Сочинил бы на память строку.

Никого не забыл бы в лесу –
Ни бизона, ни рысь, ни лису.
Может, мелкая эта и крупная
Хоть и дальняя мне, но родня

Наконец перестала бы, глупая,
Избегать и чураться меня.

Я качал бы в ладонях бельчат.
Я кормил бы с ладони волчат.
Так приятно волчата ворчат.
Так приятно бельчата молчат.

Никогда
Не кормил я в лесу
Быстроногих пугливых косуль.
Никогда, никогда, никогда
Не гулял я с бобром у пруда.
И со мной не болтали на «ты»
Глубоко в подземелье кроты.

Если встречу лису на лугу,
«Добрый вечер» сказать не смогу.
Не спрошу лягушонка в реке:
«Можно к вам?» – на его языке.
Даже если мне встретится ёж,
Не сумею спросить:
«Как живёшь?»

А быть может, пришёлся б я по сердцу
Любопытным и робким зверькам –
Обучиться бы птичьему посвисту,
Обучиться лесным языкам...

Стихи дуэтом с Денатой Мухой

Воскресная песенка об Одном Восьминогом

Сегодня доволен собой Осьминог –
Чудесно провел он воскресный денек:

В футбол наигрался
Передней ногой.
Хороших знакомых проведаль
Другой.
А Третья
каталась в лесу дотемна –
Катанье на лыжах любила она.
Четвертая
тоже любила кататься,
Но все же отправилась с Пятой на танцы.
Шестая
весь день просидела в кино.
Седьмая играла с Восьмой в домино.

Еще Осьминог собирался к Миноге,
Но тут, к сожалению, кончились ноги.

Песенка бродячих кошек

В девятиэтажном доме
на десятом этаже
никого не селят,
кроме...

Никого не селят,
кроме...

Никого не селят,
кроме
тех,
кто там
живёт
уже.

Песенка о сырой погоде

Капли прыгают с карниза.
Сыро день,
и два,
и три.

Тучи сверху.
Лужи снизу.
Дождь вокруг.
А мы – внутри.

Песенка о большом путешествии маленького пингвина

Вы ничего не слышали о Маленьком Пингвине?
А он на Крайнем Севере, на самой крайней льдине,
Без валенок, расстроенный, стоит в снегу по пояс –
Спешил на ужин к бабушке и перепутал полюс.
Попал на полюс Северный, а сам хотел на Южный,
И вот стоит растерянный и, кажется, простуженный.

На самом Крайнем Севере, на самой крайней льдине,
Где не было до этого пингвинов и в помине,
Где миллионы айсбергов, а может, даже тыщи,
Где никакая Бабушка Пингвина не отыщет,
Стоит Пингвин заброшенный, один в глуши арктической,
И ничего хорошего уже не ждёт практически.

Но тут пригрело солнышко, и откололась льдина
И к Бабушке в Антарктику доставила Пингвина.
И кончилась история совсем не так уж плохо,
Обрадовалась Бабушка, на радостях поохала:
«Ну вечно происшествия! Ведёшь себя, как маленький!
Уходишь в путешествия и забываешь валенки!»

Потом Пингвин поужинал и понял окончательно:
«Конечно, это здорово – гулять самостоятельно!
Такое приключение мне в жизни пригодится,
Могу теперь, пожалуйста, где хочешь заблудиться:
Хоть сам, хоть вместе с Бабушкой... Хотя, пожалуй, лучше ей
Гулять на Крайнем Севере лишь в самом крайнем случае».

Лирическая диетическая, или Постная песенка

Сказал диетолог полнеющим людям:
«Отныне давайте о жирном забудем!
С утра повторяйте по сто раз подряд:
– Всё жирное – вредно. Всё жирное – яд».

Но толстые люди ответили грустно:
«Всё вкусное – жирное. Всё жирное – вкусно».



МЕЖДУ НАМИ, ВЗРОСЛЫМИ

Недавно в Москве вышла книга Вадима Левина и Ренаты Мухи «Между нами: Стихи, сказки и развлечения для общения с детьми» (М.: Октопус, 2009).

Авторы этой необычной книги – известные детские поэты Вадим Левин и Рената Муха – предупреждают в предисловии к книге «Между нами, взрослыми»: «Эта книжка только выглядит детской, а задумана для взрослых. Поэтому спрячьте её подальше от детей и читайте с потомками только по праздникам. По Праздникам совместного чтения – с весёлыми развивающими играми и серьёзными разговорами по поводу прочитанного. Читая с детьми, разделяя с ними их читательские переживания, вы станете ближе и интересней друг другу, испытаете вместе немало приятных минут. Подарите эту книгу детям потом, когда они прочтут её вместе с вами и научатся открывать секреты поэзии. Надеемся, они оценят ваш подарок, не раз перечитают книгу самостоятельно и станут делиться с друзьями и знакомыми радостью чтения и читательских открытий».

А для того чтобы взрослые смогли наилучшим образом воспользоваться «детской» стихотворной частью «Между нами», один из авторов, В.А. Левин, кандидат психологических наук, снабдил книгу «Методическими подсказками взрослым читателям детской литературы». С фрагментами этих подсказок «Семейка» знакомит сегодня своих читателей, принося извинения за то, что делает это с опозданием: тираж книги уже распродан.

Но будем оптимистами и дождёмся переиздания!

КАК ЧИТАТЬ С РЕБЁНКОМ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ДЕТСТВА –

- для взаимного удовольствия и не без пользы,
- чтобы радовать малыша и радоваться самим,
- чтобы научиться лучше понимать ребёнка (а заодно – и себя!),
- чтобы стать ближе и нужнее друг другу

Когда ребёнок начинает радоваться поэзии?

Поэзия – это одновременно и наиболее примитивная, и наиболее сложная форма использования языка... Поэтическое слово звучало на заре человеческого существования ещё тогда, когда первые символы не произносили, а пели или изображали в танце.

Стэнли Кунци, американский поэт

Современное дитя впервые встречается с книгой, когда ещё не замечает её, ещё не выделяет предметов в этом мире, не воспринимает картинок, не владеет речью. Но мамы, которые начинают читать ребёнку стихи и напевать песенки уже в первые недели после его появления на свет, вскоре замечают, как младенец в колыбельке сосредотачивается, улыбается, взмахивает ручками и ножками, то есть явно получает удовольствие от маминого чтения и не скрывает этого.

Не научившись говорить, малыш **УЖЕ ЧИТАЕТ**. Ещё не умея даже лепетать, кроха читает глазами старших! Более того, **бесхитростные, наполовину импровизированные материнские поэтические приговорки успокаивают и радуют дитя, обогащают и очеловечивают ребёнка.**

Эту благотворную силу материнской поэзии с полным основанием можно назвать магической, если учесть, что поэтическая речь, обращённая к ребёнку, восходит ко временам мифов, легенд, заклинаний и заговоров.

Детская поэзия – наследница первобытных обрядов общения матери с ребёнком.

Совместное чтение матери с малышом возникло в незапамятные времена, задолго до того, как появились литература и письменность. Мама древних времён, как и сегодняшние, ухаживая за родными бессловесными крохами, непременно сопровождала свои действия необычной, небудничной речью:

приговариваниями, напевами, закличками, потешками. То, что сейчас именуется поэзией пестования (материнской поэзией, литературой для самых маленьких, стихами для грудных детей), зародилось вместе с обрядами кормления, укладывания в колыбель, купания, лечения, обучения ходьбе и т.д.

В обрядах сливались слова и движения, ведь СЛОВО в те давние времена воспринималось как ДЕЙСТВИЕ. Более того – как МАГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, способное влиять на силы природы, на судьбу человека. Наши пра-пра-матери поступали подобно пра-пра-врачам, которые словами лечили болезни и заговаривали боль (неслучайно слово *врач* происходит от *врать*, что означало когда-то *говорить*). Нежные материнские прикосновения к малышу, бережные движения матери, укачивающей ребёнка, купающей или массирующей его, играющей с ним и т.д., сопровождалась её ритмической речью, обращенной к питомцу, ласковыми интонациями, мелодией. Всё это создавало гармонию священнодействия, которое должно было защитить дитя от болезней, голода и других и бед, наполнить его силой, бодростью, чувством справедливости, одарить речью и умом:

*Потягунюшки,
Порастунюшки,
Поперек толстунюшки,
А в ножки – ходунюшки,
А в ручки – хватунюшки,
А в роток – говорок,
А в головку – разумок.*

Череды размеренных и повторяющихся действий матери, ухаживающей за ребёнком, ритм её движений, общий с ритмом напевной материнской речи, и сегодня умиротворяюще действуют на мать и дитя, усиливают переживание счастливой взаимозависимости, наделяют энергией: малыша – для роста, маму – для ухода за крохой. В этой благотворной атмосфере созревают физические и духовные силы ребёнка, возникают первые впечатления о мире – жизненный фундамент человека.

Стихи и сказки для пестования нынешние взрослые берут из книг. В старину пользовались тем, что хранилось в народной памяти и передавалось изустно. Но как в древности **первоначальное «совместное чтение»** (материнское чтение) происходило без участия книги, так и сейчас мать, бабушка или няня общаются с грудничком **непосредственно**, то есть без посредства книги, не заглядывая в книгу. Взрослый обращается к малышу со стихами, рассказывает ему сказки **«от себя»**, а не от Пушкина, Толстого, Чуковского или Заходера. Книга появится позже, когда дитя подрастёт. Ещё позже маленький читатель (с нашей помощью) **«откроет»** Автора.

Чем старше ребёнок, тем больше может дать ему книга для духовного сближения с родными людьми и с незнакомыми, для познания мира и самопознания. Но для этого мы, взрослые, должны сберечь у взрослеющего читателя детскую **восприимчивость к поэтическому слову**, которая стихийно возникает в младенчестве. Сберечь – не значит сохранить на младенческом уровне. Чтобы восприимчивость к поэзии *сохранялась* у дошкольника, школьника, подростка и позже, она *должна... изменяться*, взрослеть вместе с читателем. Иначе говоря, **читательское восприятие должно преобразовываться на каждом этапе детства – вместе с возрастной сменой интересов и потребностей ребёнка**, с расширением кругозора читателя, с развитием читательских способностей.

О том, какие этапы проходит читательское развитие и как учитывать это в занятиях с детьми, и пойдёт разговор дальше.

Потягушки и топотушки Читатель первого года жизни

«Материнская поэзия»: чтение новорождённому – эмоциональное непосредственное общение и первый шаг к духовному сближению взрослого с ребёнком

О поэтическом общении с крохой сказано уже много. Добавлю лишь пару соображений.

Главное, что необходимо новорождённому организму ребёнка, – защищённая, устойчивая, дружественная среда для созревания и «очеловечивания». Устойчив, надёжен тот мир, в котором всё предсказуемо повторяется. Такую предсказуемость создаёт для малютки близкий взрослый, когда обеспечивает размеренный ритм жизни малыша и поддерживает этот ритм материнской поэтической речью.

Материнская поэзия возникает естественно, органично и нередко импровизированно, потому что удовлетворяет потребность матери в выражении переполняющей её нежности по отношению к крошке и одновременно соответствует нужде ребёнка в контакте со взрослым, в новых впечатлениях и положительных переживаниях.

Впрочем, сочиняют не только мамы, но и бабушки. И даже папы и дедушки.

**Из ДЕДского репертуара автора:
ПО ТРОПИНКЕ, ПО ДОРОЖКЕ**
(топотушка)

Сажая внука Андрюшу на колени, ритмично подбрасываю то правым коленом, то левым и припеваю:

*По тропинке, по дорожке
убегают чьи-то ножки,
убегают по дорожке –
не глядят себе под ножки.*

*Топ-топ!
Топ-топ...*

Тут раздвигаю колени, «роняю» внука и подхватываю со словами:

Да в канавку – хлоп!

Возвращаю внука на место, повторяю игру и стихи, но теперь не «роняю», а «сбрасываю» с тропинки в сторону. И тут же подхватываю со словами:

Да на травку – хлоп!

В следующий раз «сбрасываю» в другую сторону и ловлю со словами:

Да в песочек – хлоп!

Попробуйте. А когда ребёнок чуть подрастёт, перед каждой «пробежкой» можно спрашивать:

– Куда будем падать: в канавку, на травку, в песочек?

*Литература для самых маленьких – игры для двоих,
самых близких*

Стихи, песенки, приговорки обычно неотделимы от речи взрослого, который пестует новорождённого, младенца, а потом и годовалое, двухлетнее, трёхлетнее дитя. Словесные миниатюры, вплетённые в нашу речь, способны организовать жизнь малыша и включать кроху в общение с нами. В каждом произведении поэзии пестования содержится *сценарий совместных действий взрослого с ребёнком* и одновременно – речевое сопровождение к этим действиям, вызывающим у малыша (и у нас!) положительные эмоции. Так, назначение **колыбельных песен** – успокоить младенца, погрузить его в необходимый ему сон.

Просыпалки-просыпушки, тормошилки, потягушки и другие **пестушки** (часто сопровождаемые растиранием малыша, нежными прикосновениями к нему, потягиванием, «массажем») бодрят дитя, вызывают радостные эмоции.

С помощью **потешек, забавок** (в том числе **страшилок-хваталок**: «Идёт коза рогатая...» и других) взрослые включают малыша в игру с его ножками, ручками, пальчиками. Подходят для младенцев и те стихи-забавки, в которые взрослые играют с детьми постарше. К примеру, «Мышка с коркой» и «Семеро утят» (см. раздел «ПРОБЕГАЛА МЫШКА В НОРКУ... – Раннее детство: от года до трёх»).

Кормилки (например, «Аппетитная песенка для Лёшки»), **купалки**, **пеленалки-одевалки** и т.п. превращают бытовые действия в игру.

Народная педагогика использует ещё и **прибаутки** – стихи с занятным (для взрослого!) содержанием, *которого крохотное дитя не воспринимает и воспринять ещё не скоро сможет*. В связи с прибаутками возникает вопрос:

Зачем читать ребёнку стихи, содержания которых он не понимает?

– **М**ожно ли, например, читать грудничку взрослые стихи?
– Уверен, что можно и нужно (наряду с пестушками и потешками).

Ведь для новорождённого и годовалого слушателя все слова – неизвестные. Значит, любые тексты (и колыбельной песни, и героической поэмы, и медицинского справочника, и расписания самолётов) для него одинаково сложны. *Маленький читатель-слушатель не понимает текстов, которые ему читают и, очевидно, не нуждается в понимании. Наивный кроха воспринимает не значение слов, не события, описанные в произведении, а нас, взрослых, читающих ему. И это его устраивает.*

Конечно, такого неискушенного читателя легко обмануть. Пользуясь этим, некоторые хитрые папы, когда им поручают посидеть с дословесным малышом, умудряются читать вслух, например, спортивную газету: и папе интересно, и малыш слушает. Но я бы не советовал развлекать доверчивое дитя нехудожественными текстами. Для развития ребёночка, хотя сам он этого не подозревает, важно, чтобы произведение, которое он слышит, было художественным, гармоничным! Во-первых, потому, что ритмичность, повторы, мелодичность, созвучия стихотворной речи или сказочного повествования *непосредственно, минуя значения слов, влияют* на маленького несмышлёныша, завораживают его, включают в ритмы человеческой жизни. Во-вторых, «содержание и форма» стихотворения или сказки *ещё и косвенно воздействуют* на восприятие маленького

слушателя: не осознавая самой сказки или стихотворения, малыш непосредственно и сильно сопереживает волнению взрослого. Если взрослый читает то, что его, взрослого, волнует, что вызывает у него полноценные читательские эмоции (т.е. если читает подлинно художественные произведения), то и ребёнок испытывает художественные переживания, полноценные для его возраста.

Понятно, что малыш может слушать и нехудожественные, бездарные тексты. Лишь бы читал близкий взрослый. Но обман неизбежно отзовется потом, когда в подростковом возрасте окажется, что у ребёнка дурной вкус или вообще нет потребности читать.

Чтение на вырост – Методическая подсказка неопытным родителям: что и как читать новорождённому и младенцу?

1. Читайте только те стихи и сказки, напевайте только те песенки, которые доставляют удовольствие вам. Пускай младенец, резонируя вашим чувствам, приобретает положительный эмоциональный опыт.

2. Ухаживая за крошкой, непременно рассказывайте (лучше всего – стихами, песенками, приговорками) о том, что вы делаете. Пускай в памяти малышки запечатлеваются не только интонации родной речи, но и связи между колыбельной и засыпанием, песенкой об уточках и купанием, стишком о кораблике-ложке и едой и т.д. Благодаря этому дитя, ещё не выделяя слов из потока речи, начнёт узнавать привычные «темы» ваших литературных миниатюр и настраиваться на сон, купание, еду, прогулку, игру и т.д.

3. Читая, напевая, непосредственно и активно обращайтесь к своему несмышлёному слушателю, общайтесь с ним, старайтесь предугадывать, что доставит ему удовольствие, ожидайте от дословесного малыша ответной улыбки, движений, сосредоточенности, а с середины первого года жизни – лепета младенца в ответ на обращённое к нему слово. Вскоре после этого

станет возможным традиционное «дуэт-чтение», когда вы читаете знакомое ребёнку стихотворение или сказку, замолкая перед последним словом в строке или фразе и ожидая, когда дитя закончит её:

Вы: Жили были дед и...

Малыш: ...баба.

Вы: Была у них курочка...

Малыш: ...аба.

4. Нет нужды «артистично исполнять» стихи и сказки. Рассказывайте от себя: без нажима, доверительно, делясь своими чувствами. Не забывайте, что младенец воспринимает не то, о чём вы говорите или поёте, а вас, с вашего голоса впитывая интонации и мелодику родной речи.

5. Тем не менее даже к младенцу обращайтесь так, будто он всё понимает. Овзросляя ребёнка в своём воображении, относясь к нему как к мыслящему человеку, вы включаете его в человеческие отношения, обеспечиваете его реальное «очеловечивание», создаёте перспективу для взросления.

Что даёт годовалому ребёнку материнское чтение?

Мы видим, что «материнское чтение» даёт больше, чем может показаться на первый взгляд. Оно не только развлекает, отвлекает и успокаивает малыша, но и создаёт у малютки чувство защищённости, ощущение устойчивости и доброжелательности мира. Резонируя вашим переживаниям, дитя «упражняет» свои чувства, развивается эмоционально, осваивает звучание родной речи, привыкает к интонациям ваших любимых поэтов. У ребёнка и у вас накапливается *опыт совместных читательских впечатлений*. Так, без поучений и нотаций, вы участвуете в формировании первых читательских привязанностей. Из них позже произрастёт сходное с вашим (во всяком случае – понятное вам) отношение ребёнка к литературным персонажам и их поступкам – основа нравственных оценок и позиций.

Материнское чтение доставляет ребёнку и родному взрослому взаимное удовольствие от общения друг с другом. Общаюсь с помощью стихов и сказок, дитя и взрослый становятся друг другу интересней, понятней и **НУЖНЕЙ!** **С первых месяцев жизни ребёнка книга объединяет и роднит всех троих: маленького читателя, любящего взрослого и живую родную речь.** Радость от восприятия искусства становится читательским опытом малыша, его бесценным духовным багажом, почвой для становления внутреннего мира, оптимизма и жизнестойкости.

Что будет после года?

Приобщение малыша к человеческому образу жизни начинается с освоения действий с игрушками и предметами обихода. Для этого с первых недель и месяцев младенца мы учим его брать из наших рук погремушки, а потом – бутылочку с соской, ложку, чашку... Подобно этому дитя получает из наших рук потешки, пестушки, прибаутки и другие *«речевые игрушки»*. **Песенки, сказочки и стихи сначала выполняют роль педагогических инструментов – «речевых игрушек» в наших руках.** С их помощью мы привлекаем и переключаем внимание ребёнка, организуем его поведение: вовлекаем в игру или успокаиваем, утешаем, убаюкиваем. Дитя привыкает просыпаться под наши потешки и потягушки, умываться и одеваться под наши приговорки, ходить и танцевать под наши песенки, засыпать под наши колыбельные. А также осваивает речь, учится разговаривать, досказывая, например, предложения в сказках: *«Жили-были дед и...»*

В год-полтора-два место стихов и сказок в восприятии ребёнка изменится: дитя начнёт отличать обыденную (практическую, бытовую, разговорную) речь от художественно организованной. Стихотворная речь становится сигналом (признаком) игры и организатором игры. Причём нередко одно и то же стихотворение или сказка включают читателя-слушателя то в игру «на двоих» со взрослым, то в групповую игру с ровесниками, организованную взрослым. Оба этих способа ху-

дожественного восприятия и переживания очень важны для малыша. И в том и в другом случае жизнь ребёнка наполняется и обогащается положительными переживаниями, расширяется опыт общения, развивается мышление.

Вскоре вы заметите, что ваш малыш не только охотно слушает стихи и сказки, но и требует, чтобы вы их читали и рассказывали. Это означает, что у ребёнка всё в порядке с развитием читательского восприятия. Недалеко время, когда он освоит (*о-своит*, сделает своими) «звуковые игрушки» – стихи и сказки. Он научится «отбирать» их у вас и **самостоятельно играть** ими как **своими** игрушками: запоминать их и рассказывать себе и своим куклам, сопровождать стихами свои игры, исполнять произведения перед гостями, играя в «концерт»... Протягивая вам книжку, он будет с её помощью привлекать вас к общению.

Репертуар первого года жизни по наследству достанется раннему детству (от года до трёх). Конечно, он расширится, но останется ещё вполне обозримым. А вот читательское отношение к стихам и сказкам «повзрослеет». Об этом – в следующей главе.

Пробегала мышка в норку... Раннее детство: от года до трёх

*Для женского голоса: чтение матери с ребёнком –
праздничное общение и игра*

Литература для детей раннего возраста почти не выходит за рамки «материнской поэзии». Она ограничена преимущественно миниатюрами (как фольклорными, так и авторскими). Это лирические, игровые, примитивно-сюжетные, но непременно ритмичные, мелодичные, музыкальные стихи, сказки, песенки. Описываемые в произведении события, характеры персонажей и художественные образы важны скорее для взрослого, чем для малыша: они задают взрослому исполнению интонацию, «пафос» – и через это звучание влияют на ребёнка.

Но восприятие годовалого читателя заметно «взрослее» младенческого: ребёнка теперь интересуют предметы и их детали, устройство. Наступает время знакомства с предметным миром, время любознательности и любопытства, время манипулятивных и предметных игр. Малыш, подрастая, всё с большим вниманием рассматривает картинки (узнавая от взрослого и запоминая названия животных и вещей, изображённых на иллюстрации), разбирает и собирает пирамидки, мозаики, лего (и даже будильники, правда, потом их не собирает), играет игрушками, звуками, словами. Теперь читателя-слушателя интересуют простые действия персонажей, особенно те, которые близки малышу, – еда, сон, умывание, прогулка, игра. Это хорошо знают психологи и чувствуют детские писатели. Поэтому произведения для читателей «от года до трёх» часто посвящены игрушкам («Игрушки» А. Барто), животным («Детки в клетке» С. Маршака, «Мохнатая азбука» Б. Заходера, сказки и иллюстрации Е. Чарушина и В. Сутеева), отдельным вещам, окружающим ребёнка и нас («Весёлая азбука» С. Маршака).

В раннем возрасте развивается потребность в словесном общении со взрослым, в речи, обращённой персонально к нему, маленькому читателю: Васе, Алёше, Маше, Оле... Потому что в это время малыш начинает осознавать себя. Думаю, именно с учётом этой читательской потребности стихи и сказки для годовалых и двух-трёхлетних детей часто построены как разговор с маленьким слушателем и называют ребёнка по имени. Причём имя, как правило, уменьшительное, ласкательное. Это и в фольклоре, и в авторских произведениях, и в родительских импровизациях. Ничего удивительного, ведь эти стихи и сказочки служат взрослому для общения один на один с крохой. И читатель-слушатель не устаёт радоваться тому, что взрослый (читающий, напевающий или рассказывающий) обращается именно к нему. Произведения для крошек всегда наполнены ласковыми, добрыми интонациями, улыбкой и нередко рассказывают малышу о нём самом: «Наша Маша маленькая...». Либо обращаются к ручкам, ножкам, пальчикам: «Ладушки, ладушки,

Где были? – У бабушки...». Малыш-читатель стремится активно поддерживать общение: подражает взрослому, повторяет за ним или «подсказывает» слова и слоги. Дитя ещё не умеет строить фразы, но общается, выполняя, например, игровые команды, включённые в песенки и потешки: «Ладушки-ладушки...», «Прыг-скок...» и т.д. Благодаря этому малыш запоминает многократно повторяющиеся интонации, слова, словосочетания, конструкции.

Стихи и песенки для этого возраста обычно не приспособлены для того, чтобы их рассказывал или пел сам малыш. Вслушайтесь в них. Вам не кажется, что все эти потешки, пестушки, колыбельные придуманы «для женского голоса» – для мамы, бабушки, нянюшки? Мне думается, что так сложилось по двум причинам. Во-первых, женщины больше общаются с малышами, чем мужчины. А во-вторых, раннее детство – это возраст, в котором взрослые традиционно ценят и воспитывают у ребёнка (и у девочки, и у мальчика от года до трёх) «женственность»: нежность, чуткость, пластичность, лиризм...

Примерно до трёх лет у малыша преобладают два вида восприятия литературных произведений.

1. Сохраняется освоенное в младенчестве **эмоционально-непосредственное** «читательское» **восприятие** (главным образом колыбельных песенок и взрослых стихов), когда малыш переживает произведение, не понимая его, но «резонируя» чувствам взрослого.

2. К этому «резонирующему» восприятию добавляется энергичное **игровое восприятие** стихов, сказок, песенок, когда двух-трёхлетний малыш переживает стихи, сказки, песенки не только внутренне активно, но и внешне – в движении, в игре. Характерное для детишек этого возраста читательское переживание – это игра со взрослым и с партнёрами-ровесниками. Сценарий этой игры и её нежесткие правила задаёт литературное произведение – «речевая игрушка». В роли таких «игрушек» выступают, например, чистоговорки, дразнилки, хвалилки, потешки.

Стихи-игрушки для малыша. – Из ДЕДского репертуара автора:

МЫШКА С КОРКОЙ

Мои знакомые малыши любят, когда в игре взрослые прикасаются к ним или делают вид, что хотят прикоснуться или напугать. Думаю, и ваши крохи радуются, когда с ними играют в «Бурум-бурум-бурум-БАЦ!» или «Идёт коза рогатая за мальми ребятами».

За пределами Украины мало кто знает стишок-игру про мышку. Я перевёл его на русский и играю с маленькими читателями-партнёрами так. Держу левой рукой правую ручку малыша, а пальцами своей правой «шагаю» по детской ручке – от кисти к плечу – со словами:

*Пробегала мышка в норку,
Утащила с полки корку...*

Здесь замедляю движение, выбирая место для норки: за шиворотом, под ушком, на шейке, – и отправляю туда мышку со словами:

Вот тут она её съела!

Сразу повторяю игру. Когда произношу: «Утащила с полки корку», ребёнок уже хохочет и пытается спрятать то место, куда побежит мышка.

– А теперь ты мышка, – предлагаю малышу и протягиваю руку.
– Покажи маме, как играть в мышку с коркой. Сыграй с мамой.

СЕМЕРО УТЯТ

Четыре строчки про семерых утят сложились по мотивам немецкой песенки-игры:

*В озере играют семеро утят:
голова ныряют, хвостики торчат.
Для утят – игрушки, для жучков – беда:
лучше, чем в кормушке, в озере еда.*

Движения к этой игре весело придумывать вместе с детьми.

*Что даёт чтение-игра ребёнку,
которому от года до трёх?*

Ребёнку (или группе детей) этого возраста мы редко «*просто читаем*» книгу, потому что долго сидеть на месте и слушать им ещё трудно. Обычно стихами мы сопровождаем разные занятия, песенки напеваем вместе с детьми, сказки сказываем «от себя». Тем не менее «просто чтение» (когда мы читаем ребёнку вслух, когда он видит книгу в наших руках, когда вместе с нами или сам рассматривает картинки) оказывается тоже чрезвычайно ценным. **Привычка к книге, которая легко возникает у нашего ребёнка уже в младенчестве, если мы регулярно читаем с ним, – это первый и необходимый шаг к формированию привычки к чтению.**

Когда мы *просто читаем* и читаем-играем с ребёнком такого крохотного возраста, он приобретает важный мальшковый читательский опыт: стихи и сказки, которые поначалу были игрушками (педагогическими инструментами) в наших руках, ребёнок начинает воспринимать как **свои** игрушки, с которыми он может играть сам или с ровесниками. Теперь малыш сам выбирает книжку и рассматривает картинки (сам или с ровесниками). С помощью книги привлекает к себе внимание взрослого – требует, чтобы с ним читали...

Важно: слова, словосочетания и синтаксические конструкции закрепляются в детской памяти неотрывно от мимики, жестов и – самое главное! – от переживаний, которые испытывает ребёнок в игре-общении. Речевые обороты запоминаются «внутри» эмоциональной ситуации, вместе с чувствами, возникшими в этой ситуации. При этом в детском формирующемся сознании запечатлеваются целые ряды связей между звуками речи, звукосочетаниями, интонациями, ситуациями. Это основа для будущих словесных связей (лингвисты и психологи называют эти связи ассоциативными рядами). Зарождаются первые привязанности к отдельным произведениям, первые предпочтения одних явлений и занятий другим. Так формируется основа, на которую будет опираться вся психика ребёнка, а потом и взрослого человека. Результаты внутренней работы

читателя-слушателя такого смешного возраста внешне почти невидимы. Но они бесконечно важны.

Что будет после трёх?

Трёхлетний читатель не только резонирует художественным эмоциям взрослого, но и непосредственно переживает ритмы, мелодику, интонации произведения. К этому добавляется интерес к предметам, вещам, о которых идёт речь в стихах и сказках. В дошкольном возрасте, наступающем после раннего детства, читательское восприятие продолжает обогащаться. В это время малышу открывается и становится значимой для него новая (предметная) сторона жизни. Он включается в игры с предметами, имеющими культурное назначение: с карандашом и куклой, утюжком и игрушечным самолетом, со словом и книгой. В предметной игре дошкольник открывает для себя (осознаёт) назначения предметов, с которыми играет. Поначалу детские игровые действия с предметом воспроизводят лишь внешнюю сторону действий взрослого: дитя делает «то же самое, что мама», но не ради результата. Так, маленькая девочка в точности мамиными движениями протирает стол тряпкой и совершенно не замечает, что стол от этого не становится чище. Пример Д.Б. Эльконина: мальчик старательно причёсывается перед трюмо, но не зубьями расчёски, а её тыльной стороной. Действие пока выступает для малыша не средством достижения цели с помощью предмета, а признаком предмета, дополнением к его имени. Как в стихотворении Ирины Токмаковой:

*Ложка – это ложка,
Ложкой суп едят.
Кошка – это кошка,
У кошки семь котят.
Тряпка – это тряпка,
Тряпкой вытру стол.
Шапка – это шапка,
Оделся и пошёл...*

Мир дошкольника заполняется предметами. В соответствии с этими особенностями читателя – предметный мир заполняют литературные произведения, адресованные детям дошкольного возраста. Богаче становится набор жанров и авторских интонаций. Маленький читатель уже воспринимает простые сюжеты и отношения между персонажами и начинает сопереживать персонажам. Вместе с усложнением читательских эмоций должны «повзрослеть» и читательские игры. В частности, к играм «на двоих», когда малыш включался в игру со взрослым, добавляются групповые игры, когда, например, разыгрывается сюжет сказки или стихотворения, и игры «наедине с собой» или с куклами, когда ребёнок воспроизводит по памяти стихи или сказку, но не мысленно, а внешним образом, в движении, творчески. Это театрализованное воспоминание, внешнее воспоминание-переживание произведения, своеобразный «театр для себя».

PS: К сожалению, мы вынуждены ограничиться этим фрагментом. Но для того, чтобы вы, дорогие читатели, получили хотя бы общее представление о содержании книги, предлагаем вашему вниманию содержание её взрослой части.

СОДЕРЖАНИЕ:

КОГДА РЕБЁНОК НАЧИНАЕТ РАДОВАТЬСЯ ПОЭЗИИ?

- Детская поэзия – наследница первобытных обрядов общения матери с ребёнком

ПОТЯГУШКИ И ТОПОТУШКИ. – Читатель первого года жизни

- «Материнская поэзия»: чтение новорождённому – эмоциональное непосредственное общение и первый шаг к духовному сближению взрослого с ребёнком
- Из ДЕДского репертуара (© Вадим Левин)
 - * *По тропинке, по дорожке (топотушка)*
- Литература для самых маленьких – игры для двоих, самых близких
- Зачем читать ребёнку стихи, содержания которых он не понимает?

- Чтение на вырост. – Методическая подсказка неопытным родителям: что и как читать новорождённому и младенцу?
- Что даёт годовалому ребёнку материнское чтение?
- Что будет после года?

ПРОБЕГАЛА МЫШКА В НОРКУ... – Раннее детство: от года до трёх

- Для женского голоса: чтение матери с ребёнком – праздничное общение и игра
- Стихи-игрушки для малыша. – Из ДЕДского репертуара (©)
 - * *Мышка с коркой*
 - * *Семеро утят*
- Что даёт чтение-игра ребёнку, которому от года до трёх?
- Что будет после трёх?

ДЛЯ КОГО ПИШУТ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ? – Без привязки к возрасту читателя (комментарий к родительскому открытию)

- – Детские стихи должны проверяться дважды! – сказал Маршак
- Громкое официальное заявление: Детской литературы не бывает!

ОКОЛО ОКОШКА СПИТ НА СОЛНЦЕ КОШКА... – Дошкольное детство: от трёх-четырёх до шести-семи

«Динь-дилинь! Хозяин дома?»: читательское восприятие дошкольника – игра, которая происходит в воображении, но рвётся наружу

- Игры и чтение в группе малышей и родителей. – Из ДЕДского репертуара (©)
 - Миниатюры Ренаты Мухи – пример чтения стихов в разновозрастной аудитории*
 - * *«Стенка, стенка, потолок...»*
 - * *Разговоры с мамами (загадка в лицах)*
- Игры, спрятанные в стихах. – Из ДЕДского репертуара (©)
 - * *Пугливые мышки*
 - * *Спящая Кошка*
 - * *Зайцы и лягушки*
- Что даёт чтение дошкольнику?

• Что будет дальше? Когда придёт «время для головы»?
УЖ БЕЖАЛ КРИВОЙ ДОРОЖКОЙ... – Читатель осваивает навыки чтения: не заставлять, а подстрекать!

- «Буквы, в школу собирайтесь!» – как помогать малышу приобретать навыки чтения, не теряя дошкольной любви к стихам и сказкам?

«Азбука для Аннушки». – Из ДЕДского репертуара (©)

** Первый текст для самостоятельного прочтения*

** Грамотные телята («ударная» игра со стихами)*

- Чтение с помехами, которые... помогают, или Игры для начинающих грамотеев. – Из ДЕДского репертуара (©)

** Уж*

- «Буквы, в школу собирайтесь!» (Две сказки с секретами)
Чтение-игра. – Из ДЕДского репертуара (©)

Лиса и мышь (по Николаю Сладкову: партитура мячик-чтения – для двоих)

Маленькая сказка (по Геннадию Цыферову: партитура мячик-чтения – для группы)

- «А ну-ка, выручи поэта – досочини стихи про это»: Задачи для развития речи и творчества. – Из ДЕДского репертуара (©)

** Мышкина считалка*

** Котят на рассвете*

** Вторая считалочка для кошки*

** Во что играют жабы? (Загадка)*

** Как безобразную драку унять?*

** Необходная дразнилка для Барбоса*

** Первая считалочка для кошки*

БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ЧУДЕСА. – Чтение в младшем школьном возрасте: от шести-семи до девяти-десяти

- Время открывать «Секреты стихов и сказок»: «просто чтение», чтение с открытиями и ступеньки взросления читательского восприятия
- Второй критический момент в формировании отношения к книге
- Чтение с открытиями: «Секреты стихов и сказок» – повзрослевшие литературные игры

- Секрет первый. «Грохочет слово, словно гром...»
 - * *Усталый поезд (партитура чтения)*
- Несколько слов о домашних заданиях
- ЧТО МЫ УЗНАЛИ СЕГОДНЯ, чему научились, чему можем научить знакомых взрослых?
 - Напоминание взрослому, который готовится открывать с детьми «Секреты стихов и сказок»
 - Вторая встреча с первым секретом (фрагменты)
 - Лыко в строку. – Методические подробности
 - Звучание стихов и смыслы, скрытые в стихотворении. – Методические подробности
 - Секрет второй. «Квинтер, квантер, жэс!» (Учимся читать хромающие строки)
 - Секрет второй (добавление): Срочная помощь спешащим ежатам
 - * *Стихи про ежат, которые к маме-ежихе спешат*
 - Секрет третий. «Похожие хвосты»
 - * *Паровозова сестричка*
 - * *Дневная загадка*
 - * *Почему зазвонили будильники?*
 - Секрет третий (добавление): Игры в рифму
 - Летящая рифма
 - Складно-нескладно
 - Угадай стихотворение по рифмам
 - Буриме
 - Цепочка рифм
- ...А ОСТАЛЬНОЕ ПРИДУМАЙТЕ САМИ... – Что дальше?..
 - Секрет четвертый. «Щука щуку укусила». – Открытие Автора
 - Детское сочинительство: движение к читательской зрелости и... к двум опасностям. – Методические подробности
 - Открытие Автора – решающий шаг к читательской зрелости

Наталья ХАТКИНА
Донецк

Я! Я! Я!

Решили поболтать друзья,
Им помешала буква Я.
– Я, – начал Игорь Сундуков, –
Дрессировать мечтаю львов...
Но перебил его Тарас:
– Я съел сегодня ананас!
– Я! Я, – кричала Ира, –
Приз принесла из тира!
– Я пуделя подстриг под льва!
– Я ананас съел! Даже два!
– Я самый меткий в мире глаз!
– Я... Дайте мне сказать сейчас!
Никто не слушал никого,
Никто не понял ничего.
Решили поболтать друзья...
Им помешала буква Я.

Двухэтажный человек

Мимо сквера, мимо школы,
Магазинов и аптек
Шёл по улице весёлый
Двухэтажный человек.

Шёл он лёгкою походкой,
Из пакета ел драже,
У него усы с бородкой
Были в первом этаже.

Во втором – две пухлых щёчки
И ресниц лукавый взмах.

Это были папа с дочкой,
Папа с дочкой на плечах.
Шли не слишком жарким летом,
Не спеша – не на пожар,
И над крышею-беретом
Плыл большой зелёный шар.

Котик

Размечтался котик:
«Буду я богатый
и куплю костюмчик
серый, полосатый!
Ну а вдруг не стану
никогда богатый?
Буду так ходить я –
серый, полосатый».

Молодые старики

Наш любимый старый дед
Оседлал велосипед
И поехал! Нет проблем!
Нет, не старый он совсем!

Бабушка, сварив компот,
Приглашает всех в поход,
Надевает ловко
Белые кроссовки.
Столько нужно посмотреть –
Просто некогда стареть!

А мой товарищ Саня
Всё время – на диване
Лежит и что-нибудь жуёт...
Ему не хочется в поход.

Двенадцать лет ему пока,
Но... Так похож на старика.

Власти взрослых нет предела:
что ни взрослый, прям больной! –
точно знает, что бы делал,
если б был не им, а мной.

– На твоём бы месте
я бы не скакал!
– На твоём бы месте
я бы не икал!
– На твоём бы месте
я бы съел котлету!

Я из чувства мести
отвечал на это:
– Я б на месте тети Кати
не ходил весь день в халате,
а не месте тети Клавы
не зевал, как крокодил.
А на месте дяди Пети
свет гасил бы в туалете,
а на месте дяди Славы
я бы бороду побрил.

Говорю по чести:
– Вы ко мне не лезьте!
Да, такой, как есть я!
Ну – не идеал.
Я б на вашем месте...
Я б на вашем месте...
Я б на вашем месте
от меня отстал!

Прозвенел звонок, –
Каникул
Возвещается начало!
Толя бешено запрыгал,
Оля дико закричала.
А потом переглянулись
И на улицу рванулись
Из распахнутых дверей.

Кто же мчится всех быстрее?
Кто летит, всех обгоняя
На четырнадцать шагов?
Нет, не двоичник Трамваев,
Не отличник Сундуков,
А учитель младших классов
Петр Антонович Тарасов!

Он так рад поре каникул!
Ведь за школьные деньки
Надоели ему крики,
А тем более прыжки.

Мучил умными словами
Неуемный Сундуков,
А стеснительный Трамваев
Доставал вообще без слов.

Вскачь несется наш учитель,
Галстук бьется на груди.
Хоть кричите, хоть скачите,
А свобода впереди!

Петр Антонович Тарасов
В класс все лето ни ногой!
Мы тебе желаем счастья,
Наш учитель дорогой!

Наталья ХРУПИНА

Челябинск

ЗОЛОТЫЕ ЦВЕТЫ САУЛЕ

Жил однажды в дальнем латышском королевстве веселый портной Ильмар. И была у него красавица-дочка, которую звали Сауле, что по-латышски означает «солнце». Словно утреннее солнышко, озаряла приветливая девочка весь мир вокруг. Даже птицы подражали ее веселому смеху. А когда ей было грустно, за окном огорченно моросил теплый дождь. Соседи-бедняки любили балагура Ильмара и его златокудную дочь. А у тех больше никого и не было на всем белом свете! Поэтому отец был своей дочке и за маму, и за папу, и за всех родных, которые есть у каждого мальчика и девочки.

А был Ильмар самым замечательным портным во всем королевстве. Толстяков его костюмы делали худыми, горбунов – стройными, карликов – высокими. Только злых они не могли сделать добрыми, а жадных щедрыми.

Но, как говорится, рыбак без сети, сапожник без сапог, портной без рубахи. За долгие годы не мог сшить весельчак-портной ни одной обновки для своей дочери. Материя стоила больших денег, а в доме не было ни одного лишнего сантиметра. Девочка ходила в ветхих штопанных-перештопанных рубашках и платьях, которые отдавали ей сердобольные соседи, такие же бедняки, как портной Ильмар. Выручки от портняжного дела едва хватало на хлеб и на молоко. Но зато от каждого костюма, от каждого сшитого платья оставались у портного лоскутки материи. Скупые заказчики забирали остатки материала покрупнее, а крохотные кусочки ткани выбрасывали в коробку для мусора. Много лет Ильмар собирал эти разноцветные куски ткани и складывал в сундук. Наконец накопил он столько лоскутков, что их вполне могло бы хватить на платье для дочери. И ранним июньским утром, когда бархатное солнце щекотало золотыми кисточками заспанные личики анютиных глазок и шершавые бока старого забора-ворчуна,

сел портной шить платье своей Сауле. Лоскутки были маленькие – не больше лепестка подсолнуха, и притом были они все разных цветов.

Зеленый лоскут – остался от парадного костюма директора рыбного магазина. Того, что носил черную шляпу с обвисшими полями, и был похож на сонного сома с бакенбардами. Золотой клочок парчи – был от платья краснолицей хозяйки мясной лавки. Крохотный кусочек тюля небрежно швырнула в коробку злобная усатая старуха. Она жила в доме напротив и втридорога сдавала комнаты студентам. Несколько голубых лоскутков оставила пожилая учительница пения. А коричневый кусок ткани положил в коробку добрый дворник, он всегда угощал девочку лимонными и апельсиновыми леденцами и мастерил для нее кукол из тонких ивовых прутьев. И еще много разных красивых кусочков материи накопилось у Ильмара за эти годы.

Собрал портной эти лоскутки и, напевая старинную песню, чтобы работа шла веселее, принялся шить нарядное платье в подарок любимой дочери. Несколько раз поднималось солнце из-за горы Саулескалнс – несколько раз отправлялось оно на покой в мягкие пушистые луга. А Ильмар все сидел и шил платье Сауле. Иногда окна занавешивались серебряной бахромой дождя, дождь – сменялся пышным, словно взбитые сливки, туманом. На смену туману приходили мятные лавандовые сумерки. А утром вновь расцветал на небе золотой солнечный цветок. И солнце, и дождь, и туман, и даже ночные звезды – все они просто сгорали от любопытства. Всем хотелось увидеть, каким получится платье.

И вот, наконец, ранним утром Ильмар поднялся со своего скрипучего стула, устало потянулся и поднес готовое платье к окну. Малиновки, весело щебетавшие в кустах, изумленно замолчали. Остановились сизые плюшевые облака, деревья, встав на цыпочки, с любопытством заглядывали в дом. Солнце своими золотыми кисточками принялось деловито стряхивать с диковинного платья крошечные пылинки.

А портной так устал за эти дни, что повалился на кровать как подкошенный и крепко уснул.

Как раз в эту минуту проснулась Сауле. Сегодня ей исполнялось ровно шестнадцать лет. Она открыла глаза и улыбнулась новому утру. На земляном полу маленькой комнаты солнце щедро рассыпало сияющие блики, похожие на золотые монеты, теплый ветер заботливо причесал девушку – ее каштановые волосы заблестели на солнце. А цветы придумали для Сауле самые чудесные духи на свете. Каждый час аромат менялся, то это был чистый и тонкий запах ландышей, то лиловый вздох сирени, то терпкая нота дикой гвоздики, то яркий аккорд высокомерных нарциссов...

Смеясь, вбежала Сауле в комнату отца, увидела свое новое платье и ахнула. Оно сияло, словно картина из разноцветных стеклышек. Больше всего на этой картине было яркого синего неба (учительница отдала портному все-все синие лоскутки, она даже отказалась от кармана и рюшей, чтобы ткани осталось больше), на шелковом небе золотилось солнце из парчи, убегала вдаль шустрой змейкой коричневая дорога и манили куда-то зелеными ладонями-листьями деревья. Был на этой необычной картине и маленький дождь из кружев, и туман из кусочка белого гипюра. Жаль только, что облака не плыли по настоящему, деревья не качались от ветра...

Радостно напевая, надела Сауле свою обновку и выбежала на улицу. Увидели жители городка диковинное платье и ахнули. Одни – от радости и восторга, другие – от зависти и злости. Ни одна принцесса в этом королевстве никогда не была так хороша в пышных богатых нарядах, как Сауле в своем новом платье. Первой девушку увидел директор рыбного магазина.

– Эт-то что еще такое?! – зарычал он, задыхаясь от собственного жира и шевеля усами. – Да как он посмел!!! Смотрите, этот вороватый портняжка украл кусок материи от моего костюма и сшил из него платье своей замарашке! Так вот почему в последнее время жилет не сходится на моем животе.

Директор рыбного магазина бросился к Сауле и острым ножом, к которому прилипла рыба чешуя, отпорол от ее платья зеленый лоскуток. Сауле безутешно заплакала и прикрыла прореху ладонью.

– А ну-ка постой, гадкая воровка, – визгливо закричала из окна хозяйка мясной лавки, вращая выпученными глазами. –

Немедленно верни лоскуток от моего платья! Он больших денег стоит.

С этими словами она выбежала из дома и большими ножницами отрезала от платья Сауле кружок золотой парчи. То же самое повторилось, когда платье увидели злобная усатая старуха-домовладелица, только что выгнавшая всех студентов из дома, толстый полицмейстер, вороватый ювелир. Они принялись отрезать от прекрасного платья лоскутки, забыв, что когда-то сами же и выбросили эти ненужные им клочки в мусорную коробку. А старая учительница и дворник грустно покачали головами, увидев, как рыдающая от горя и обиды девушка в искромсанном платье возвращается домой. Да и платьем-то эти несколько кусочков голубой и коричневой ткани нельзя было назвать.

И вдруг ...вдруг солнце решительно протянуло свои золотые лучи-кисти к Сауле, и мгновенно закрасило прорехи на платье золотой краской. Из-за горы Саулескалнс вырвалась радуга и украсила подол чудесными цветными оборками. Дождь сплел серебряные кружева для воротника, сумерки накинули на плечи Сауле фиалковую пелерину. А ветер, пролетая мимо, осыпал платье серебряной пылью, которую прислали ночные звезды, и приколот к воротнику веточку шиповника с алыми ягодами. И если платье, которое сшил дочери портной, было хоть и прекрасным, но всего лишь обычным платьем, то это новое, подаренное солнцем и дождем, радугой и сумерками, туманом и звездами, – было живым мерцающим чудом. Удивительный наряд переливался и пульсировал даже в темноте, серебряные пылинки дрожали, как далекие звездочки в холодную зимнюю ночь, дождевые кружева перезванивались майским ливнем.

Счастливая Сауле побежала домой. Тут проснулся отец и увидел свою красавицу-дочку в прекрасном платье.

– Наверное, я все еще сплю и вижу сон, – восхищенно сказал он. – Неужели это я создал такое чудо? Значит, я очень хороший портной. – И он обнял свою счастливую дочку.

Никто и прежде не сомневался в мастерстве Ильмара. А с этого дня портному и вовсе стали заказывать костюмы жители

всего королевства. Он разбогател, купил красивый дом с садом и стал там жить со своей дочерью.

А что же гадкий продавец рыбы, хозяйка мясной лавки, злая старуха из дома напротив? Неужели все они продолжали обижать и обирать бедных и беззащитных людей? А вот и нет. В тот миг, когда солнце подарило девочке новый прекрасный наряд, на другом конце улицы, будто спичка, вспыхнул рыбный магазин... за ним ювелирный. Запыхали мясная лавка, дом полицмейстера и комнаты, которые сдавала злая усатая старуха. Затем на город обрушились ливень и град, которые погасили пламя, но разметали по всему королевству остатки домов богатеев, обидевших Сауле. Конечно, все эти злые и жадные люди остались живы, но ютиться им с тех пор пришлось в старом заброшенном доме на окраине королевства. А горожане еще долго гадали, почему огонь, дождь и град не тронули жилища бедняков.

Старого дворника Ильмар и Сауле пригласили к себе. Он поселился у них в уютном садовом домике. Ведь он так любил цветы! И возле высокого дома портного выросли невиданные до сих пор цветы и деревья. Сауле и ее отец каждый день гуляли по саду, наслаждались ласковым солнцем и теплым дождем, любовались на звезды и радугу. А больше всего было в саду никому не известных золотых цветов, семена которых Сауле раздала всем соседям и они превратили королевство в золотой сад. Люди вскоре стали называть их «золотыми шарами».

Девушка вышла замуж за доброго работающего паренька. Когда у них появились дети, учительница музыки научила их играть на скрипке, а садовник сочинять сказки. Так появилась и эта сказка.



Андрей АНПИЛОВ

Москва

Андрей Анпилов – поэт, бард, прозаик, эссеист, профессиональный художник-график, исследователь жанра авторской песни. Участник творческих объединений «Театр песни», «Прямая речь», «Весь» и «Первый круг» (с 1987 года). Член Союза писателей Москвы.

Автор книг «Письмо счастья» (Рассказы и повесть, 1993), «Загадочные пупырышки» (Стихи для детей, 1995), «Небесный портной» (Стихи, 1998), «Подозрительное затишье» (Стихи для детей, 2002), «Домашние тапочки» (Стихи, 2002), «Игольное ушко» (Стихи, 2009)

Иголка, напёрсток, ножницы

Вещи детства, как звезды в реке,
Мне во мраке их светится горстка –
Голубая иголка в руке,
Золотая головка наперстка.

Взмахи ножниц вперед и назад,
Все отважнее вглубь проникая,
Режут крыльями тьму наугад,
На коленях у мамы сверкая.

Золотится их маленький рой,
Тают тени из меда и воска.
Словно сердце в глуши мировой,
Бьется храброе мамино войско.

Что я видел, проснувшись в ночи
На испуганной, жаркой кровати?
Абажура косые лучи...
Темноты величавые складки...

Помню трепет пружинки в часах,
Шорох снега на улице вьюжной...
И живые огни в небесах
Над душою моей безоружной...

Болезнь лишь в детстве хорошо...

Болезнь лишь в детстве хорошо –
Лежишь, как цуцик, на подушке,
И шерстяной платок смешно
Завязан в бантик на макушке.

Покажешь горлышко врачу,
Слизнешь, зажмурясь, горечь с ложки –
И снова делай что хочу,
Весь день упрямясь понарошке.

А все – на цыпочки встают!
К губам прикладывают пальчик!
Украдкой сладости дают
И называют тебя – «зайчик»!

Болей, мой маленький, пока
Носочек вязаный белеет,
И ночью мамина рука
«Бо-бо» найдет и пожалует...

Как выращивать ребёнка?..

Как выращивать ребенка?
Это надо делать тонко –
Взять младенца и в горшочек
Как цветочек посадить,
Поливать его спросонок,
Не менять ему пеленок –

Глядь, извилиной сыночек
Начал бойко шевелить.
Есть еще хороший метод,
Сильно действующий летом –
Выгнал в поле, как козленка,
И скомандовал «Пасись!»
Он побегает кругами,
Не мешаясь под ногами –
Не узнать потом ребенка,
Так он вымахает ввысь.

Ну а самый главный способ –
Воспитанье под гипнозом.
Нету школы для подростка
Лучше сна и тишины.
Детство кончится без нервов,
Мальчик вырастет, наверно,
И проснется сразу взрослым.
Все проблемы решены.

Впрочем, можно с чувством долга
Жизнь ребенку портить долго –
Закалять в режиме строгом,
Стричь пятнадцать лет подряд,
Баловать, кормить арбузом,
Целовать за тройку с плюсом...
Ну и что? Глядишь – в итоге
Тот же самый результат.

Смешинка

Залетела в рот смешинка,
Словно с улицы снежинка

Через форточку вселилась
И в душе развеселилась.

Мне на самом деле грустно.
У меня на сердце груз – но
Вдруг смешинка в рот попала
И до слёз расщекотала!

Хохотать заставила,
А потом – растаяла...

На диване

С ногами залезу на темный диван,
Зажмурю глаза, чтоб удобней мечтать –
Мне папа сегодня волшебный роман
С цветными картинками будет читать!

Из окон плывет замечательный мрак...
Над книгой таинственно лампа горит...
«Джез Крюк! Извиняюсь, вы – круглый дурак!» –
Отец с выражением мне говорит.

Но только вступлю я в заманчивый бой,
Лишь ветер в груди паруса развернет –
Как папа, устало кивнув головой,
Уронит страницу и сладко зевнет.

«Ну, папа! Читай – там пиратский фрегат!»
Все тихо... Вода в батарее журчит...
Во сне пробормочет отец наугад:
«Свистать всех наверх!»... и опять замолчит.

И сердце сжимается, как кулачок.
«Не спи!» – за рукав я пижаму трясю.
Но папа сквозь пальцы куда-то течет,
И мирно сползают очки на носу...

Заснул или проснулся?

Никак не запомню – ну, не успеваю! –
Куда я деваюсь, когда засыпаю?

Я только что был и боялся без свету,
Отвлекся чуть-чуть и – меня уже нету!

Лежу, лоб наморщив, в ответах копаюсь –
Откуда берусь я, когда просыпаюсь?

И надо ж родиться таким чудаком мне:
Засну – и не знаю. Проснусь – и не помню.

Я сел на кровати, оделся, обулся...
Вдруг кажется мне – я совсем не проснулся?!

Ведь я перед этим улегся, укрылся,
Боялся, отвлекся и – в сон провалился!

Ага! Значит, надо – раздеться, разуться,
И снова заснуть, чтобы вправду проснуться!!!

Совет

Прекрасно, дружок, абажур потуши,
Прекрасно под щеку ладонь положи.
Для доброй компании – не для возни! –
Тряпичного зайца подмышку возьми.

Подушку потискай, чтоб стала горой,
Себя в одеяло поглубже зарой.
Надежно свернувшись на правом боку,
Ногами подрыгай, как конь на скаку.

А после зажмурься и ляг на живот,
Представив индийских слонов хоровод.

Потом повалайся чуть-чуть на спине,
Потом передвинься поближе к стене.

Губами почмокай, вздохни от души
И снова под щеку ладонь положи.
Когда ж после этого сну не бывать –
То можешь меня за совет убивать!

Хомячок

Спасибо тебе, хомячок дорогой,
За то, что ты весь симпатичный такой:
За рыжую спинку, за белое брюшко,
За розовый пальчик, за голое ушко,
За быстренький усик, который щечочет,
За хвостик, что в руки даваться не хочет,
За то, что ты щеки надул и молчок –
Большое спасибо тебе, хомячок!

Верный способ

Хорошо быть очень грустным –
Людам нет того милее,
Чем и письменно, и устно
Пожалеть тебя скорее.

И печальным быть отлично –
Ничего в том нет дурного,
Если все тебя обычно
Утешают как родного.

Как чудесно быть плаксивым
И встречать слезами утро –
Очень кажется красивым
Это людам почему-то.

Это действует прекрасно,
Если быть счастливым хочешь.
Так что, братец, ты напрасно
Веселишься и хохочешь...

Папаша

Я скажу тебе честно, сынок:
Твой папаша – большая скотина.
По утрам он храпит, как сурок, –
Что уже, вероятно, противно.

Страшно жить с ним в квартире вдвоем –
Вон на кухне как злобно он курит!
Ну а если чуть что не по нём –
Мрачно брови сердитые хмурит.

Выпьет чаю – и сразу орать:
Не шуметь, не сорить, не играть!
Брысь под лавку дрожащею мышкой
И сиди там с полезною книжкой!

Всё всегда ему вечно не то,
Недоволен, небрит и невесел –
Ну, вот, кстати, за что только что
Он тебе подзатыльник отвесил?

Ни за что! Ты горюешь один,
От обиды слезу проливая –
Потому что твой папа кретин –
Вон он бродит, судьбу проклиная.

Он теперь (впрочем, как и всегда),
Рвет на лысине горькой седины
И зубами скрипя от стыда,
Сам себя называет скотиной.

И дает себе страшный зарок,
И раскаяньем дух сокрушает...
И вот так будет с каждым, сынок –
С тем, кто маленьких, гад, обижает!

Родительское собрание

Медленно в зловещей тишине
Двигается муха по стене.
Темнота за окнами. Зима.
Снег лежит, убитый наповал.

Мрачный педагог, сводя с ума,
Раскрывает медленно журнал
И обводит взглядом кабинет,
Прямо в душу острый глаз ввернув!

Я сижу, как будто меня нет.
Низко в плечи голову втянув.
Двадцать человек среди Руси,
Все дрожат, как очередь к врачу.

«Господи, помилуй-пронеси», –
Про себя я мысленно шепчу.
В маленькую парту, словно в гроб,
Больно упирается нога.

«Здесь Анпилов?» – спросит педагог.
Вот и начинается... Ага...
«Отвечай скорей, как на духу –
Кто тут папа?!» – голос повторил.

Я на всякий случай – ни гу-гу.
Мало ли, что мальчик натворил?
Если никуда не вылезать
И глядеть задумчиво в окно,
Может – все, что мне хотят сказать,
Рассосется как-нибудь само?..

Вон ворона села на сугроб...
Молча снег идет как на войну...
Сморщила учительница лоб
И вздохнула сумрачно: «Ну-ну...»

Долги меня сживут со свету...

Посвящается сыну

Долги меня сживут со свету
Или ударит в сердце нож –
По непротоптанному следу
Свою дорогу ты найдешь.
Возьмут тебя чужие люди,
А я поеду к Богу в рай.
Жена забудет. Друг забудет.
И ты меня не вспоминай.

О ты, кто мне всего дороже,
Я обещаю наяву –
Ничем тебя не потревожу,
Вернувшись в небо и траву.
Ни городскими голосами,
Ни жаром, тающим в золе...
Твоей улыбкой и глазами
Я снова буду на земле.

Плачь у разбитого корыта
Люби друзей, гляди в окно –
Ты будешь книгою открытой,
Я лягу строчкою на дно.
А если время все отнимет,
Сотрет движением одним –
Я буду жить еще как имя
В тени за именем твоим.

Александр ВАСИЛЕНКО

Заль

Некоторые считают, что раньше людей на земле появились те, кого нынче причисляют к малому народу: эльфы, гномы, феи, пикси. Сейчас они будто бы ушли из нашего мира и поселились в некоей неведомой стране. Знатки утверждают, что это не так. Все эти таинственные и загадочные существа и доныне живут рядом с нами.

Просто мы их в нашей повседневной спешке не замечаем. А вот собаки и кошки их отлично видят и прекрасно с ними ладят. Наиболее дружелюбно относятся к людям феи. Это существа, наделенные красивой внешностью и изящными манерами. Они обладают огромными знаниями, мудрецы и волшебники. Могут говорить на любом из человеческих языков, а также понимают язык птиц и зверей. Обычный рост фей не более полуметра, но они могут уменьшаться и увеличиваться в размерах, если пожелают. Большинство фей живут группами, каждую из которых возглавляет могущественная и строгая королева.

Мнение, что бывают добрые и злые феи, неверно. Просто у них очень переменчивое настроение. К феям, как и ко всем прочим представителям малого народа, надо относиться с уважением. Если фея дает совет, надо следовать ему в точности, каким бы странным он ни казался. Как правило, феи ладят с окружающим миром, и если кому помогают, то совершенно бескорыстно. Но могут и наказать, если человек совершает что-то противоречащее их понятиям о справедливости.

Любопытный человек может увидеть фею, но лишь на короткий миг между тем, как моргнет два раза. Говорят, что если смотреть сквозь дырочку в камешке, что проточила вода, то тоже можно увидеть фею, особенно в полнолуние. Но все те же знатки предостерегают: не стоит подсматривать или вмешиваться в дела фей, так как они могут рассердиться и наказать человека. Если им надо, они вам сами покажутся.

Маленькие феи любят, чтобы их мамы рассказывали им сказки про звезды. А маленькие дети любят сказки про фей. В этой тоненькой книжке я собрал для детей маленькие истории про маленькую фею.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БЭЛЫ

У феечки Бэлы день рождения. Очень знаменательная дата! На этот день рождения ей подарят крылья. В том мире, где живет крошка Бэла, феи вовсе не рождаются с крыльями. Их всегда дарят взрослые. А управляют феи крылышками с помощью магии, которой у маленьких феечек пока что очень мало. Няня говорит – как кот наплакал. Сколько это, Бэла не знает, так как ее кот Томомот пока еще ни разу в жизни на ее глазах не плакал.

Конечно, подарили феечке в день рождения не только крылышки. Подарков было много, и все – замечательные! Все их надо было открыть, посмотреть и сказать за них спасибо. Потом гостей угощали сладким нектаром и массой замечательных блюд, которые умеют готовить только феи. И только когда все разошлись, Бэла открыла большую коробку с прозрачными, как у стрекозы, крыльями.

Естественно, Бэла слышала от взрослых фей, что научиться управлять волшебными крыльями не так-то просто. Но разве можно в это поверить, глядя, как непринужденно и виртуозно порхают старшие между цветами?

Итак, Бэла прицепила крылышки, настроилась на магическую волну и полетела. В лужу. Ох, как сердится Бэла! На себя, на непослушные крылья. И между тем вытирает грязные пальчики о праздничное платьице. И начинает все сначала. После третьей неудачной попытки Бэла с тоской думает, что летать она никогда не научится! Деревья ей перебегают дорогу, кусты бросаются наперерез, и, сделав со свистом очень крутой вираж, испугав до смерти кота Томомота, Бэла с размаху влетает в куст форзиции.

Выпутавшись из переплетения красных веток, она вдруг слышит странный мяв Томомота. Бедный кот со страху сиганул в сторону и оказался в пруду.

– Мау! Мау! – кричит котик, что по-кошачьи означает: «Спасите! Погибаю!»

Тянет ко дну его тяжелая намокшая шубка. Молотит он лапками по воде, а ни на сантиметр не приближается к берегу.

Испугалась Бэла: пропадает любимый кот! Взвилась она на помятых крылышках. Низко-низко пролетела феечка над поверхностью пруда, ухватила Томомота за шкуру. Тяжел кот, не вытащит его феечка из воды. Напрягла она все свои силенки и потащила любимца, как маленький буксир тяжелую баржу.

Вот и берег. Спасен кот! Упала Бэла без сил на траву. Няня бежит, сокрушается: как же так, почему это наша Бэла без няни решила учиться летать?!

Ой! А кот Томомот какой смешной стал! Совсем не солидный вид у бывшего кота! Но он не плачет. Ну как тут узнаешь, сколько это – «кот наплакал»?

Отдохнула Бэла, развернула крылышки и... взлетела! Ура! Кусты больше не бросаются наперерез. Научилась Бэла летать.

А помятые крылышки воздушные волшебники Элементали разглядят. И платьишко няня постирает.

СТАРШАЯ СЕСТРА

Плохо феечке Бэле, страдает она под развесистым листом лопуха. Целый день только и слышно: «Не мешай!», «Иди-ка погуляй!», «Ты теперь старшая сестра!»

– Никто меня не любит, – всхлипывает Бэла, – никому я не нужна.

– Мурр, – говорит кот Томомот и виновато ластится к ней. По-настоящему разговаривать он не умеет, но Бэла и без слов его понимает.

– Мурр, – снова и снова повторяет Томомот, что означает: «Как это никто тебя не любит? Неправда! А я? Я же люблю тебя!»

– Конечно, ты самый умный и самый чудесный котик, – соглашается Бэла, – только ты один меня и любишь. Давай, убежим с тобой в дальние края. Как можно дальше от этих черствых взрослых, от этой противной крикливой Гиэлы, моей младшей сестры!



– Мурр, – возражает Томомот, – как же мы бросим наш чудесный лес, нашу уютную полянку, всех наших маленьких друзей: бурундуков, лягушек, белок?! И потом, разве это так плохо – однажды стать старшей сестрой?

– Плохо! – говорит печально Бэла. – Никто на тебя внимания не обращает, все только о Гиэле заботятся, о ней только и говорят. А я никому не нужна!

– Мурр, – укоряет ее котик, – неправда! Ой, как многим ты нужна! И мне, и белкам, и бурундукам... Все мы слабее тебя. А ты умнее нас всех. И любим мы тебя, совсем как старшую сестру или даже больше. Когда-нибудь вырастет и Гиэла и вместе с нами будет любить тебя. Будет, как и мы слушать твое умное слово, любоваться твоими ловкими руками...

– Никогда она не будет меня любить, как ты, – всхлипывает тихонечко Бэла.

– Мурр, – соглашается котик, – это так, но она будет любить тебя по-другому, сестринской любовью. Разве это плохо?

– Не знаю, – шмыгает носом феечка Бэла, – я не против того, чтобы Гиэла меня любила. Только сейчас она совершенно ничего не понимает.

– Мурр, – шепчет мудрый котик, – время, милая Бэла, не стоит на месте. Пойдем лучше домой, будем помогать ей расти.







«По деревне начали пере-кликаться петухи, солнце запо-лонило наше убогое обиталище без толку дрожащими в его лу-чах пылинками...» – это лите-ратура. Так же, как немногосло-вие и яркость образов первой миниатюры.

В кратком вступлении Алиев называет свою книгу хроникой недоумений.

В аннотации – сборником рассказов.

Он лукавит. Это так называ-емый бессюжетный роман с мо-тивацией поиска смысла там, где этого смысла нет и не было...

Борис Юдин

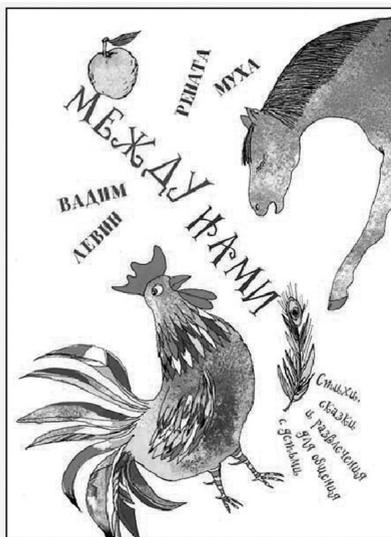
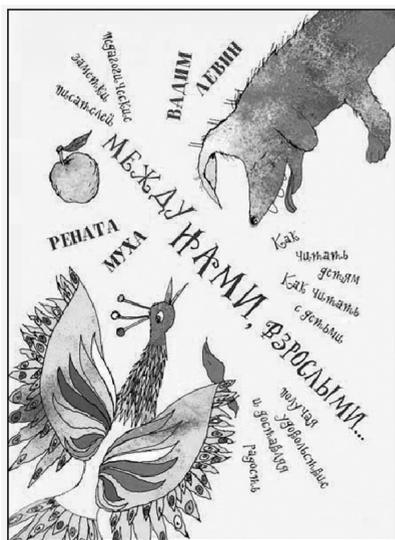
Виктор Левенгарц – автор рассказов, очерков, которые были опубликованы в журналах, альманахах России (Санкт-Петербурге), Германии (Гамбург, Кёльн, Дюссельдорф) в том числе и на немецком языке (Дрезден, Боркен, Кассель).

В книге «Глаза и память» три раздела: «Не прощайте воспоминания», «В пространстве живописи» и «Дорога времени». В них представлены произведения разных жанров: в первом – рассказы, во втором – очерки, эссе о живописи и творчестве ряда художников и скульпторов Санкт-Петербурга с репродукциями их работ, а в третьем – документальная проза и публицистика.

В Германию автор приехал из Санкт-Петербурга, живёт в Вуппертале.



ВИКТОР ЛЕВЕНГАРЦ
 Эссеист, автор рассказов, очерков.
 Печатался в газетах, журналах и альманахах
 Европы, Израиля, России. Дипломант европейского
 литературного конкурса. Его переводят на немецкий язык,
 а одно из произведений вошло в антологию
 «Мечта Нанте» (Nantes, 2007 г.).
 Большую популярность в читательской среде с
 заслуженной славой и успехом завоевали современные
 русские художники и скульпторы – их судьбы, творчество,
 наиболее интересные из работ этого цикла
 посвящены в книге.



На страницах сборника «Между нами» прямо на наших глазах все, что есть на белом свете, превращается в стихи

Просто удивительно, как эти два отдельных, вполне самостоятельных поэта сумели так «сговориться», что в результате получилась совершенно цельная книга – единая атмосфера, в которой особенно хорошо слышны оттенки каждого голоса?

Сборник «Между нами» стоит в потоке детских книг отдельно, потому что перед нами поэзия другого художественного уровня, и она способна доставить удовольствие взрослому человеку независимо от присутствия ребенка...

Ирина Линкова